

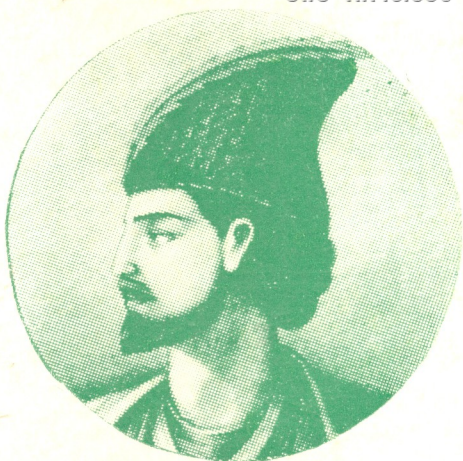
ლიტერატურა

გრეკია

3

1975

# ОТ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕМИЯМ ГРУЗИНСКОЙ ССР ИМЕНИ ШОТА РУСТАВЕЛИ



Комитет по Государственным премиям Грузинской ССР имени Шота Руставели в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров Грузинской ССР присудил Государственные премии Грузинской ССР имени Шота Руставели 1975 г.:

## В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ:

Думбадзе Нодару Владимировичу — за произведения, опубликованные в 1973—1974 годах: роман «Белые флаги» и рассказы — «Дидро», «Коррида», «Собака», «Неблагодарный».

Нишнианидзе Шота Георгиевичу — за произведения, опубликованные в 1973—1974 годах, вошедшие в книгу «Эпическое эхо» и книгу стихов из серии «Грузинские писатели — на вахте пятилетки».

Заболоцкому Николаю Алексеевичу (посмертно) — за высокохудожественные переводы на русский язык «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, грузинской классической и советской поэзии.

## В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ:

Лагидзе Ревазу Ильичу — за песни, опубликованные в 1973 году: «Рассвет», «Шагает Октябрь», «Меня ждет Вардзиа» (новый вариант), «Песня студентов», «Глас сердца»,

«В лесу», «Плач фереиданского грузина».

## В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:

Бердзенишвили Мерабу Исидоровичу — за скульптурные работы, созданные за последние годы («Георгий Саакадзе» и другие).

## В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА:

Васадзе Акакию Алексеевичу — за роли, исполненные за последние годы (Лир — трагедия Шекспира «Король Лир», Исидорэ — «Обвинительное заключение» Н. Думбадзе, Георгий — «Картинки из семейного альбома» Т. Чиладзе).

## В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Кецховели Николаю Николаевичу — за книгу «С радостью иду за Арсиани», 1974 г.



# Литературная Грузия



Ежемесячный  
литературно-художественный  
и  
общественно-политический  
журнал



Орган Союза писателей Грузии

3  
МАРТ



19 Издательство 75  
ЦК КП Грузии

# «ლიტერატურული გრუზია»

(რუსულ ენაზე)



სოციალ-დემოკრატიული ლიტერატურულ-მხატვრული  
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უძრუნალო

წელიწადი მე-19

№ 3

მარტი, 1975 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДЗЕ,  
Тенгиз БУАЧИДЗЕ,  
Марк ЗЛАТКИН,  
Лавросий КАЛАНДАДЗЕ,  
Серго КЛДИАШВИЛИ,  
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,  
Владимир МАЧАВАРИАНИ,  
Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,  
Гурам ХАРАИДЗЕ  
(заместитель главного редактора),  
Владимир ХОМУТОВ  
(ответственный секретарь),  
Георгий ХУЦИШВИЛИ,  
Эммануил ФЕЙГИН,  
Алеко ШЕНГЕЛИА.

Год издания

19-й

**АДРЕС  
РЕДАКЦИИ:**

ТБИЛИСИ, 380008, УЛ. ЛЕНИНА, 5

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора —

93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

**ОТДЕЛЫ:**

Отдел прозы и очерка

(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) —

93-31-43

Отдел поэзии и искусства

(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики

(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) —

93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Технический редактор Макалатия Г. Н.

Корректор Галионджян Н. А.

© «Литературная Грузия», 1975 г.

# Содержание:

## ПОЭЗИЯ

<b>МАРИДЖАН.</b> Не умолк Пшавела... «Строки мои — дыханье мое...» Перевод Яна Гольцмана . . . . .	5
<b>МАКВАЛА МРЕВЛИШВИЛИ.</b> Сын Земли. Полночь. Перевод Юлии Резиной . . . . .	5
<b>МАРИКА БАРАТАШВИЛИ.</b> Бунтовщицы. Дни светлые. Перевод Елены Шуваловой . . . . .	6
<b>НАЗИ КИЛАСОНИЯ.</b> Грозная тема: Рабочий Класс! Перевод Виктора Гена . . . . .	7
<b>ЛИЯ СТУРУА.</b> «Я та же, десять лет не изменили...» Перевод Юнны Морниц . . . . .	7
<b>АННА КАЛАНДАДЗЕ.</b> Синеокая фиалка. «В сердце скалы вы глядели украдкой?..» «Шелест, шелест щавеля...» «Нислаури — сам туман ты...» Перевод Алек- сандра Величанского . . . . .	8
<b>МЕДЕЯ КАХИДЗЕ.</b> Люза. Цицамури. Перевод Аллы Немиловой . . . . .	8
<b>ИЗА ГОЦАДЗЕ.</b> Поэту, другу. Нине. Зной. Перевод Михаила Синельникова . . . . .	9

## ПРОЗА

<b>АЛИО АДАМИА.</b> Большая и маленькая Екатерины. Ро- ман. Продолжение. Перевод Татьяны Соко- ловой-Рухадзе . . . . .	10
<b>ДАВИД КВИЦАРИДЗЕ.</b> Памятники земли не обременяют. Роман. Продолжение. Перевод Камиллы Коринтэли . . . . .	26
<b>ТАМАЗ НАТРОШВИЛИ.</b> Пробуждение. Рассказ. Пере- вод Виктории Зининой . . . . .	41
<b>АННА АГЛАДЗЕ.</b> Хурджин. Рассказ . . . . .	54

## КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>ГЕОРГИИ КАЛАНДАДЗЕ.</b> Первозданный цвет слова... . . . . .	58
<b>ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ.</b> Дорогой правды . . . . .	62
<b>МИХАИЛ КАЙТУКОВ.</b> Жизненные истоки революции . . . . .	69

## ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

МИХАИЛ ЗАВЕРИН. Когда поэт с поэтом говорит . . . 74

## ИСКУССТВО

ЛИАНА ТАТИШВИЛИ. Хорошая кисть художницы . . . 61

## НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГЕОРГИЙ МЕРКВИЛАДЗЕ. Исследователь советской  
литературы (К 60-летию Георгия Ломидзе) . . . 83

## В МИРЕ КНИГ

ДМИТРИЙ МОЛДАВСКИЙ. Стихи спускаются с гор . 85

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ. Плодотворным путем типоло-  
гического анализа . . . . . 87

Книги о бессмертном подвиге народа . . . . . 91

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЭЛГУДЖА АМАШУКЕЛИ. Письмо в редакцию . . . 93

Художественное оформление В. Чернышова.



# Голоса грузинских поэтесс

МАРИДЖАН

## Не умолк Пшавела...

Если он заговорит,  
Спугаешь едва ли —  
Каждая строка горит,  
Как рассветный Джвари!

Светлая, не умерла  
И не поржавела.  
Соловей с душой орла —  
Не умолк Пшавела.

Никогда не падал ниц —  
Льдистая вершина.  
Чем дышали сто страниц?

...Отсветы камина,  
Клекот горного ключа  
Важа помогали.  
Розовая алыча  
У реки в Чаргали,

Прадедовские кресты  
Да струга густая...  
А зачем терзать листы,  
Коль душа пустая?  
Что, бумагою шурша,  
Разводить водицу?  
Свет, когда светла душа,  
Ляжет на страницу.

\* \* \*

Строки мои —  
дыханье мое.  
Я никогда  
в слова не играла.  
Эта строчка —  
мое копые.  
Эта строчка—  
мое забрало.  
Строки-объятья,  
строки-цветы.  
Сколько  
в жизни перевидала!  
Тут —  
остались следы беды.  
Тут —  
любима! — легко взлетала.

Все, что вспыхнуло  
и полегло,  
Или, вспыхнув,  
навек осталось,  
Сердце  
в музыку облекло.  
Не забылась  
и самая малость.

...За окном—  
потемнело уже.  
Мало строк  
в глубине осталось,  
Но, покуда  
растут в душе, —  
Надо мною  
не властна старость.

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

Маквала МРЕВЛИШВИЛИ

## Сын Земли

И, пораженный, — О, какая красота! —  
Он выдохнул, когда, за облака уйдя,  
Увидел Землю — О, какая красота! —  
Всю в ярких радугах, и солнце,  
и дождях.

Дерзнувший рейсом, беспредельнее,  
чем мысль,  
Ворваться в звездный мир, где он  
живой звездой

Он о тебе поет — услышь, Земля,  
услышь,  
Мечтатель, первенец Вселенной,  
мальчик твой,

Взошел, преодолев границу мглы и дня,  
Твоими радугами светлыми храним..  
И, восхищенный, он благословил тебя,  
Земля, где мы живем, и дышим,  
и творим.



## Полночь

Обещает мне полночь глухая —  
 День настанет, вчерашнего краше.  
 Дети спят... И, в ночи затихая,  
 Наша юность уходит все дальше.

Миг, — и все, что звенело, страдало,  
 Предрассветным туманом растает,  
 Полночь бьет... Прошлогодним пожаром  
 На губах поцелуй догорает.

Жарко новая конница дышит,  
 Миг, — взвилась в серебре от порога,  
 Выше, эй, златокудрые, выше  
 Над дорогой, над вечной дорогой!..

Солнце. Лес. Там земля потемнела,  
 Обнажилась и дышит свободней...

Говоришь — Вчера вьюга свистела? —  
 Улыбнись — Это снег прошлогодний.

Это тихо звенит чонгури  
 Или горы в ночи засыпают,  
 О, земля, твои нивы, как море,  
 Добрым золотом вновь засверкают.

Годы! Скучны законы эти —  
 Уходить друг за другом послушно.  
 Что ж, летите... Мы новые встретим,  
 Мы не будем скорбеть о минувших.

О, мы скажем — Да не иссякает  
 Сад плодами и совесть — светом!  
 И опять пусть кипит, закипает  
 Этот год... И этот, и этот!

Перевод Юлия РЕЗИНОЙ

Марика БАРАТАШВИЛИ

## Бунтовщицы

*Меланье Хелашивили и Сабедра Гулхадарашвили, участницам восстания кахетинских крестьян в 1878 г.*

Небо суровое,  
 Холод  
 Встали на вашем пути.  
 Искали вы спасенья  
 И не могли найти.  
 Мучила жажда,  
 Сердце  
 Пересыхало,  
 Словно  
 Стало водой родниковой  
 Грузинское  
 Слово.  
 И выпало ли счастье,  
 Не знаю,  
 Вам увидеть  
 Во сне детей и мужа?  
 Кахетии любимой

Дворы,  
 Друзей,  
 Корыта,  
 Соседей  
 И дома в их  
 первоизданном виде...  
 ...Я теперь ишу вас,  
 Я по зарослям бродила.  
 Нигде ни камня,  
 Ни креста,  
 Ни следа могилы.  
 Полностью стерта давно  
 Граница  
 Жизни, смерти.  
 Нет могилы вашей,  
 Нет  
 На этом белом свете.

А вам, быть может,  
 и поныне  
 Снится сон такой:  
 Вот вы и дома,  
 Все, как прежде было —  
 Тронь рукой.  
 Любовью окружают  
 Муж и дети,  
 Вся родня.  
 Прости, Меланья,  
 И ты, Сабедра,  
 Прости меня.  
 Но я тревожу  
 Покой ваш чуткий,  
 Покой земной,  
 Чтоб свет имен  
 ваших нетленных  
 Был всегда со мной.

## Дни светлые

Шутя идем по жизни,  
 Не взлелеем  
 Ни дня,  
 Не обласкаем  
 Ни мгновенья.  
 Растраченной монетою звеня,  
 Вся жизнь  
 по дням  
 Распалась,  
 Как по звеньям.  
 И вдоль всего пути останутся лежать

Дни светлые,  
 что полнились  
 теплом твоим,  
 Подобно драгоценному сосуду...  
 Другие — тусклые  
 Тебя  
 с упреком будут провожать,  
 Бесплотные, как тень,  
 их жаль,  
 о них забудут...

Перевод Елены ШУВАЛОВОЙ





Нази КИЛАСОНИА

## Грозная тема: Рабочий Класс!

Это, поэты, великая тема,  
Грозная тема: Рабочий Класс!  
Отблески сполохов, крови оттенков  
Вряд ли оставят спокойными вас.  
Трижды расстрелянный, проклятый  
трижды,  
Страшного, сытого мира — не жаль.  
— Хлеба! — кричу, подбирая булыжник,  
С этим оружием идя  
На Версаль.  
Зреет мелодия песни неробкой,  
Песни, летящей за тысячи миль.  
Этой дорогой — не тихую тропкой—  
Шли мои  
Пешков,  
Потье  
И де Лилль!  
Знающему честные строки,  
Знающему мироздания вес,  
Мне ли по духу и крови далеки  
Ленские прииски и  
Пер-Лашез?!

Вива.  
Республика!  
Вива.  
Республика!

Славься, рабочих республика,  
Вдруг  
Миру явившая новую рубрику —  
Дивную сущность натруженных рук!  
Класс вдохновенный, правдивый  
и стойкий,

В поте лица созидающий жизнь,  
Ты ли не любишь, не помнишь те строки,  
Слаженным хором зовущие ввысь?!  
Вечная,  
Кружится наша планета  
В мере одной для любого из нас.  
Пойте, поэты!  
Вас просит об этом  
Его Величество  
Рабочий Класс.

Он ли не дружен с поэтами, с теми,  
Кто с ним и горе и радость делил?!  
Разве не вместе с ним были все время  
Страстные  
Пешков,  
Потье  
И де Лилль?!

Перевод Виктора ГЕНА

Лия СТУРУА

\* \* \*

Я та же, десять лет не изменили.  
И никому догадка не мелькнет,  
что я все время на плечах ношу  
исполненные тяжести и света  
соборы, храмы веры в образ твой.  
Колокола, висящие в мозгу,  
качаются и гулко бьют в пространстве  
за белизною лба, который ныне  
изрезан вертикалью проводов  
и формулами,  
и, помимо воли, мой лоб от этой  
нестерпимой боли  
похож на купол, на поющий купол,  
на серебро громадной колокольни,  
поскольку над беспомощным, как травка,  
над маленьким моим, как травка, телом—  
исполненные тяжести и света  
соборы, храмы веры в образ твой.  
И этот дом — он мой, и только мой,  
и мой мужчина у стола стоит,  
единственный,  
и, словно проповедник,  
он раздает вино и чистый хлеб...  
Я верую в твой добрый, чистый хлеб,  
поскольку он — не милостыня вовсе,

у каждой крошки хлеба твоего —  
родной и сытный аромат.  
Я знаю,  
что это только тысячная часть  
твоей обильной крови, сытой плоти.  
Я верую в твой горький, чистый хлеб,  
и бьют колокола на колокольне  
и сотрясают изнутри мой лоб —  
белейший камень моего терпенья,  
а в древних генах  
живет инстинкт, и, словно зверь в неволе,  
он лижет, лижет жарким языком  
страдающее, раненое тело...  
Мне страшно с наступленьем этой боли,  
которая давно растет во мне, —  
и если боль узнает вкус победы,  
я попрошу магические травы  
и золотую мощь медовых капель  
спасти меня  
и плоть мою избавить  
от темного бессилья  
и распада,  
поскольку плоть моя — не что иное,  
как храм священной веры в образ твой.

Перевод Юнны МОРИЦ



Анна КАЛАНДАДЗЕ

### Синеокая фиалка

\* \* \*

Солнце так сплит... Потупишь  
 в зор отраднй...  
 Ветер бережно укрыл тебя травой,  
 Чтобы детьям не сыскать тебя... Тобой  
 Сам полюбвался лишь украдкой...  
 Сколькo света — о, как солнце светит  
 яркo!  
 Чуть глаза свои открьешь лучезарно,  
 Поглядишь на солнце тихо, благодарно...  
 Живи долго, синеокая фиалка...

Шелест, шелест щавеля  
 Грустью откликается —  
 То ли солнце клонится,  
 То ли сердце кается...  
 Тихо птиц порхание,  
 Речка — свет в очах у ней...  
 Грустно от тенистого  
 Шелестенья щавеля...

\* \* \*

\* \* \*

В сердце скал вы глядели украдкой?  
 Там святая свеча трепещет...  
 Там покой сливается с мощью  
 И бессмертие с преходящим...  
 Там величье души залегает,  
 С серафимом схоже покоем,  
 И достаточно слиться с небом,  
 Чтoб развеялось все земное!  
 В сердце скал вы глядели украдкой?  
 Скрыта тайна отвесных склонов...  
 Там земля дышит тяжкой грудью,  
 Ото всех сокрыв свою рану.

### НА НАРОДНЫЙ ЛАД

Нислаури — сам туман ты:  
 Солнце встало — солнцем стал ты...  
 Я б осталась на Арагве,  
 Если бы не исчезал ты.  
 Когда с глаз ты удалялся,  
 Страхом в сердце проникал ты...  
 Не изменят тебе скалы —  
 Свой среди орлов и скал ты.

Перевод Александра ВЕЛИЧАНСКОГО

### Лоза

В краю чужом иных глаза  
 Полны березою лучистой.  
 Мои ж — грузинская лоза  
 Давно к себе уж приручила.  
 Она, как мать, дала мне кров  
 И свет рождения второго.  
 Она течет во мне, как кровь. —  
 Мое молчание и слово.  
 Она степенно солнце пьет,  
 И, зеленея, вьются кудри.  
 Она — моя вторая плоть,  
 Мои и горести, и утро.  
 Когда гляжу я на нее,  
 Я становлюсь добрей, красивей.  
 Она — дыхание мое,  
 Мои и мужество, и сила.  
 Лоза грузинская, тобой  
 Протянутая щедро чаша  
 Врачует часто нашу боль,  
 Мечты развенчанные наши.  
 А сколько, сколько на веку  
 Тебе пришлось изведать горя!  
 Но не сдалась ты. И врагу,  
 Нет, не достались наши горы.  
 Пусть у иных полны глаза  
 Березой белой и лучистой.

### Медея КАХИДЗЕ

Мои ж — грузинская лоза  
 К себе давно уж приручила.

### Цицамури<sup>1</sup>

Цицамури. Опять толпа,  
 Как в молельне.  
 И строги лица.  
 Пани Мария,  
 слезы слепят.  
 И нету прощенья убийцам!  
 Кари — на той стороне пути,  
 Пани Мария. А здесь — Сагурамо,  
 Здесь, не успев дописать строки,  
 Старый Илья покачнулся от раны...  
 Пани Мария! Едва рассветет,  
 Завтра с утра поведу вас к могиле,  
 Где, не смолкая, скорбит мой народ,  
 Где не забыли, где не простили.  
 Воды, очистившись, вольно бегут.  
 Многих при жизни венки увенчали.  
 Пани Мария! Запомните: тут  
 Песню поэта убийцы прервали..

Перевод Аллы НЕМИЛОВОЙ

<sup>1</sup> Близ Цицамури от руки наемных убийц пал выдающийся грузинский поэт и общественный деятель Илья Чавчавадзе.



## Поэту, другу

Теперь — весна, и ко всему вернется  
природный цвет.  
И с дерева молчание прольется —  
покоя нет.  
И, падчерица мысли своенравной,  
вспорхнет мечта,  
Слепая пыль скользнет во мгле дубравной  
с усталого листа,  
Вдоль неба кровью красною плеснули,  
и меркнет день...  
И пусть не первый, ты настигнул пульей  
свою мишень.  
Знай, все пути ведут к единой цели —  
из утра в ночь.

Войти в бессмертье путники успели,  
смерть превозмочь.  
Люблю ночей серебряные очи,  
теперь — весна!  
Нам лишь душа дана по воле ночи,  
душа — одна.  
И крепостей незыблемые стены  
съедает мох,  
И замысел разрушен дерзновенный  
иных эпох.  
Что ж, твердо знай, что ни кузнец,  
ни зодчий  
не удивит  
Былых столетий, и планеты отчей,  
и пирамид.

## Нине

Сновиденье стоцветное слепо,  
Дом качается, словно зыбка...  
И в глазах отраженное небо  
Смутно светится, словно улыбка.  
Улыбнулась —

небесные очи

Так дремотно опущены долу...  
Руки,  
Руки из сумрака ночи  
К материнскому тянешь подолу.  
Только зимняя ночь сожжена,  
Бедным ангелам сладко спится.  
Ты у красных ворот денницы  
Напеваешь: «Иав-нани-на!»

## Зной

Куста коснулся ветер частым гребнем —  
Миндаль взъерошен, волосы взвилась...  
И отзывом, и вкрадчивым, и древним,  
В чащобах

рыси отвечает рысь.

А солнце, ровным пламенем объято,  
Взвалив на плечи белый трон резной,  
Как жертву на алтарь заката,  
До вечера несет над лугом зной.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА



Алио АДАМИА

# Большая и маленькая КАТЕРИНЫ

РОМАН

С того дня, как я впервые увидела Реваза у Гуласпира Чапичадзе, я его не могу забыть. Я стала думать о нем непрестанно.

И мама почувствовала это.

Почувствовала и лишилась покоя.

Чего ты боялась, мамочка?

Моя мама: у Реваза нелады с Русудан, но не нам ее осуждать. Она родилась и выросла в Тбилиси. У нее двое детей, она имеет собственный дом, родители рядом... Бросить все это и переехать в деревню, где даже приличной дороги нет?... Почему Реваз, заведующий кафедрой института, совершил такой шаг? Да потому, что его потянуло в родные места, к отцу, захотелось ему пожить в доме, с которым связаны воспоминания детства. Его позвали Сатевела и хемагальские тропинки, мельница Абесалома Кикнавелидзе и школа. Властно позвала Реваза родная земля. Позвали его семнадцать учеников и два учителя сельской школы, и дедушки и бабушки тех семнадцати учеников. Да, это им понадобилась его помощь. Реваз услышал их зов и не смог больше оставаться в Тбилиси... В доме Александре целые ночи напролет горел свет, не спалось Александре, с нетерпением ждал он Реваза... Разве мог он остаться в Тбилиси? Нет, не мог. Он и уехал. И не ошибся. А главное, что сын поддержал отца. Сандро — вылитый Реваз Чапичадзе в детстве. Когда Ревазу было столько лет, сколько сейчас Сандро, он как раз учился в хемагальской школе. Он носил молоть кукурузу на мельницу Абесалома Кикнавелидзе, ловил в Сатевеле рыбу, бегал по хемагальским тропинкам, любил объезжать лошадей... Когда я вижу вместе отца и сына, мне кажется, что это два Реваза — мальчик и уже зрелый мужчина. Реваз тоже был прилежным учеником, таким же стеснительным и беспокойным... А может быть, Реваза потянуло быть ближе к могиле матери. Да, любящее сердце матери упрекнуло его за то, что он ее бросил, и разве мог он после этого оставаться в Тбилиси? Нет, не мог! Взял и приехал, вернулся сын к матери. Теперь он раз в неделю обязательно ходит к ней на могилу, и не один, Реваз всегда берет с собой Сандро. Мне кажется, Реваз доволен своей судьбой, и дай бог ему всего наилучшего! А как же Русудан, спросишь ты. И я отвечаю: пусть Русудан и Татия живут в городе. Татия же должна в Тбилиси учиться дальше. Сандро окончит нашу школу и тоже уедет в Тбилиси. Он, наверное, не будет, как его отец, заниматься шелковичным червем, а пойдет по стопам деда, историка Диасмидзе. Ну и пусть себе занимается историей, пусть вернется к нам ученым. В Хемагали есть дело для людей разных специальностей, и историк Сандро Чапичадзе сможет найти применение своим знаниям... А когда Русудан поймет, что Реваз поступил правильно, она перестанет на него сердиться и у них в семье все уладится. Не сегодня-завтра так и будет, Эка! А ты? Ты хочешь воспользоваться моментом, хочешь разрушить семью, в которой наметился разлад, хочешь отнять у Татии и Сандро отца, а у Русудан мужа...

Разве не верно я говорю?

Пауза.

Продолжение. Начало в №№ 1, 2.

Опять моя мама: я знаю, что с тех пор, как ты встретила Реваза, у тебя сердце не на месте. Я тебя не осуждаю. Ты ведь росла одиноко, без подруг и друзей. Годы шли для тебя однообразно и уныло: школа, мельница, хождение в Хергуз, точные занятия в институте, долгие зимние ночи и одиночество, одиночество, одиночество... И вот тебе встретился Реваз, и ты совсем потеряла голову. Твои всегда печальные глаза повеселели. Все это естественно, Эка, и я ни в чем не хочу тебя упрекать. Ты радостно спешишь в школу, потому что знаешь, что увидишь там сына Реваза. Здороваясь, он улыбнется тебе, и ты ответишь ему улыбкой. Но тебе-то будет казаться, что это вы с Ревазом улыбаетесь друг другу.

Не так ли?

Пауза.

Опять моя мама: правду я сказала, и потому ты языка лишилась. Возвращаешься ты домой совсем в другом настроении. Быстренько переделаешь свои дела и куда-то поспешно убегаешь. Знаю, летишь, как на крыльях, в контору совхоза. Там с важным видом сидит Гуласпир, щелкая костяшками счетов и изучая какие-то большие листы бумаги. У тебя якобы неотложное дело у Гуласпиру, а на самом деле ты идешь к Ревазу. Увидишь ты его, и тебе станет легче. Реваз улыбнется и между прочим поинтересуется, зачем тебя прислала большая Екатерина. Ты растеряешься и, опустив голову, покраснев, тихо скажешь, что тебя мама к Гуласпиру послала. Теперь Гуласпир спросит, какое к нему дело у большой Екатерины, и ты начнешь что-нибудь сочинять...

Домой ты вернешься в прекрасном настроении.

Неужели ты думаешь, Гуласпир и Реваз не догадываются, почему ты ходишь в контору? Отвечай, Эка!

Я: ты же сказала то, что должна была сказать я, мама!

Моя мама: у твоей мечты обрезаны крылья. Мне жалко тебя, Эка!

Я: знаю, но не хочу этому поверить! Я стану жертвой моего увлечения? Ну и пусть! Пусть исполнится то, что мне на роду написано! Я ни о чем не буду жалеть!

Моя мама: а обо мне ты не думаешь, Эка?

Пауза.

Опять моя мама: мы никогда не принадлежим только себе!

Я: и это я знаю, но сейчас я принадлежу только себе...

Моя мама: но зато Реваз Чапичадзе не принадлежит только себе!

Я: этого я не знаю, мамочка.

Моя мама: ты злая, Эка!

Я: за зло я буду наказана.

Моя мама: придет время, и ты будешь наказана, действительно наказана, и мне жалко тебя, Эка!

Я: ты кое-чего не знаешь, мама.

Пауза.

Опять я: ты ведь уверена, что я люблю Реваза, а он меня нет? Думаешь ты так, да?

Пауза.

Опять я: ты убеждена, что это так, мама, но на самом деле все обстоит иначе...

Это случилось в прошлом году, в конце мая. День я почему-то не запомнила. Вечерело, когда я, уставшая и грустная, возвращалась с мельницы.

Я вышла на поляну, положила на траву свою ношу и сама, сев рядом, стала смотреть на хребет Санисле.

Сколько раз я наблюдала его во время захода солнца, и всегда он был разным, но я не удивилась, что в тот вечер он выглядел как-то по-особому: казалось, что край хребта сверкает, да нет, он и на самом деле блестел. Ниже он казался каким-то красноватым, еще ниже был темным и только совсем внизу — нежно-изумрудного цвета. Лучи заходящего солнца равномерно освещали весь хребет. Я смотрела на горы, и душа моя отдыхала. Мне казалось, что я стала совсем невесомой, у меня выросли крылья и я могу взлететь и будто я действительно медленно взлетела... Да, хребет Санисле манит меня, он приковал мой взгляд, ослеплял меня, потом сделал легкой, дал крылья и заставляет лететь к себе... И вдруг кто-то положил мне на плечо руку. Каким-то шестым чувством я поняла, что это был Реваз Чапичадзе. Я замерла.

Реваз сел рядом со мной на траву, наклонился ко мне и, прижавшись щекой к моей щеке, глухо сказал, показывая в сторону гор:

— Странно, правда?

Пауза.

— В Грузии ни один хребет не расцветивается такими красками во время захода солнца, ни сам Цхрацкаро, ни Кюдиани! — убежденно сказал Реваз, и я снова ощутила на плече тяжесть его руки.

Сидим мы на траве, смотрим на хребет Санисле. Он постепенно темнеет, вокруг нас тоже становится темно.

Реваз не удивлен, что мне не показалось странным, когда он положил мне на плечо руку, и я не удивлена, что он встретился мне под вечер здесь, на поляне, словно мы уговорились заранее, и сидит рядом со мной.

Не помню, сколько времени мы просидели так.

Вдруг мне послышались шаги, и я решила, что это мама идет меня встречать. Я вскочила и, не попрощавшись с Ревазом, забыв о мешке с мукой, побежала домой.

— Эка! — тихо позвал меня Реваз, и мне показалось, что голос его дрожал.

Я не остановилась, но скоро услышала за спиной его шаги. Он догнал меня, положил на землю мой мешок и преградил мне дорогу.

— Почему ты не выходишь замуж, Эка?

Пауза.

— Почему не выходишь замуж? — громко сказал Реваз и, положив мне руки на плечи, посмотрел в глаза.

— Никто меня не любит, — тихо, почти шепотом сказала я и опустила голову.

— Ошибаешься! Слышишь? Ты ошибаешься, Эка! — громко, почти срываясь на крик, сказал Реваз. Он обнял меня, притянул к себе и поцеловал в губы... Потом повернулся и Реваз пошел назад, в сторону своего дома.

А я стояла и смотрела ему вслед, пока он не скрылся в темноте.

Я снова села на траву. Она была приятно прохладная.

«Ошибаешься! Ты ошибаешься, Эка!» Эти слова как стрела пронзили мое сердце, и меня словно опалило огнем. Сижу я, смотрю кругом, и все мне представляется каким-то нереально светлым, сияющим. Солнца нет и в помине, а мне кажется, что весь хребет Санисле залит солнечным светом, и высоко в небе стоит солнце, освещающая деревню и Сатевельское ущелье. Шумит Сатевела, поет трава, поют полевые цветы и в мире царит добро.

Я легла навзничь и стала смотреть в небо. Оно было такое черное, что мне стало страшно, и я зажмурилась.

— Мама, ты слышишь, он тоже любит меня! — громко, радостно сказала я и, повернувшись, грудью прижалась к земле. Земля почувствовала это и ответила ласковым прикосновением. Так и лежала я, затаив дыхание.

Наверно, я плакала... или это роса намочила мне лицо.

Я встала, взяла мешок и, не чувствуя тяжести своей ноши, быстро пошла домой.

Ты меня встретила у ворот и сердито, но с испугом в голосе спросила:

— Почему ты так задержалась, Эка?

Я ничего не ответила и прошла в кухню, а ты так и осталась около ворот.

Я уже просеяла муку и месила тесто для мчади, когда ты вошла в кухню.

— На мельнице народу много было? — с вызовом спросила ты и села на табуретку.

— Я одна была! — спокойно сказала я.

— Этого не может быть.

Пауза.

— Да, только я была, мама!

— Мельница не испортилась?

— Нет!

— Значит, ты была не одна! — убежденно сказала ты, внимательно глядя на меня.

— Он меня любит, мама! Слышишь ты? Любит! — крикнула я и, плача, выбежала из кухни.

Потом я долго ходила по двору босиком и мне все слышались слова Реваса: «Ошибаешься! Ты ошибаешься, Эка!». Я замерзла, и меня стало знобить... Ты тихо позвала меня, и я вошла в кухню.

На столе стояла еда. Мы молча поужинали. Ты выпила рюмочку инжирной водки, хотела и мне предложить за компанию, но не решилась.

Ты раньше меня вышла из кухни, и по тому, как ты стала подниматься по лестнице в дом, я должна была догадаться, что ты очень на меня сердита.

Я убрала со стола, погасила огонь и, войдя через заднюю дверь в дом, на цыпочках прошла через большую комнату к себе и легла.

Легла я, и что это началось за мучение!

Сначала у меня перед глазами возник Реваз Чапичадзе. Улыбаясь, он выманил меня из комнаты, а потом и со двора. Он повел меня на то место, где мы сидели с ним около двух часов назад, и, дерзко став передо мной, положил мне руки на плечи и спросил:

— Почему ты не выходишь замуж, Эка?

Пауза.

— Почему ты не выходишь замуж, Эка? — громко повторил Реваз.

— Никто меня не любит, — сказала я и опустила голову.

— Ошибаешься! Слышишь? Ты ошибаешься, Эка! — громко, почти срываюсь на крик, сказал Реваз. Он обнял меня, притянул к себе и поцеловал в губы... Потом он отпустил меня и быстрыми шагами пошел прочь...

Он ушел, оставив меня одну посреди заброшенного поля. Мне страшно, я хочу идти домой, но не в силах сдвинуться с места... К счастью, начало светать, и я вдруг увидела, что по полю с букетом полевых цветов идет Сандро. Идет он ко мне, опустив голову, смущаясь, и походка у него какая-то неуверенная. Подошел он ко мне и протягивает букет. Я улыбаясь беру его, а Сандро, не взглянув на меня, поворачивается и убегает.

— Сандро! — кричу я, но он продолжает бежать, не слыша меня...

И я опять осталась одна посреди поля, и мне снова стало страшно. Мне нужно идти домой, но я не могу пошевелиться... И, на мое счастье, я услышала шум шагов — оказалось, это Александре Чапичадзе, который, верно, возвращался из гостей, от Абесаломы Кикнавелидзе. Время было уже позднее, и дома его жакдались сын и внук. Увидев меня, он в удивлении остановился так шагах в десяти. Долго он стоял и удивленно смотрел на меня. Наверное, его поразило мое раскрасневшееся лицо. Он подошел ко мне совсем близко и посмотрел в глаза. Его и без того морщинистое лицо, казалось, сморщилось еще больше, с такой жалостью он смотрел на меня.

— Ты почему здесь стоишь, Эка? — ласково спросил Александре и, горько улыбнувшись своим мыслям, повернулся и медленно пошел своей дорогой.

Дойдя до конца поля, он остановился и посмотрел в мою сторону. Махнув рукой, показывая, чтобы я шла домой, он печально улыбнулся (это я смогла разглядеть, несмотря на то, что Александре был далеко), потом опять махнул мне рукой и ушел.

Стою я, как изваяние, посреди заброшенного поля. И нужно домой идти, а ноги, как чужие, не слушаются... Послышался шум мотора, где-то поблизости остановилась машина, и появились Русудан и Татия с сумками в руках. Они смотрят на меня и о чем-то шепчутся. Я готова сквозь землю провалиться. Голову опустила, чувствую, лицо заливается краской. Я хочу уйти, но ноги словно к земле приросли. Татия подошла ко мне и, присев, заглянула мне в глаза. Подмигнув, она ехидно улыбнулась и начала хохотать, грозя мне пальцем. Она мне показалась совсем взрослой женщиной. Вдруг она повернулась и побежала прочь... Откуда-то навстречу Татии вышел Сандро. Они расцеловались, и он взял у нее из рук сумку. Потом брат и сестра помахали мне руками и вприпрыжку побежали через поле.

Русудан продолжала стоять около меня. Улыбнувшись мне уничижительной улыбкой, она громко сказала: «Бедняжка» — и ушла. Ушла решительной походкой рассерженного человека... Шедший ей навстречу Реваз взял у нее сумку, положил на землю и, как меня два часа назад, крепко поцеловал Русудан в губы.

Потом он поднял сумку, взял под руку Русудан, и, счастливые, они ушли.

Когда они были уже у края поля, Реваз оглянулся и махнул мне рукой, показывая, чтобы я шла домой.

Как зачарованная, стою я посреди поля, и последние силы покидают меня. Страшно мне, аж дрожь бьет.

...В это время ты вошла в мою комнату, и я очнулась.

Свет ты не зажгла, хотя была уверена, что я не сплю. Сев на краешек кровати, ты ласковым примирительным тоном спросила:

— Реваз был выпивши?

— Нет! — вырвалось у меня, и я резко села в постели.

— Нет, наверняка был выпивши! — убежденно сказала ты и язвительно добавила: — Ты моложе Русудан, а женатым мужчинам всегда нравятся молоденькие девочки. Это банальная история, и Реваз Чапичадзе обыкновенный мужчина, Эка!

Не ожидая моего ответа, ты вышла и с силой захлопнула дверь комнаты.

Твои слова как ножом полоснули меня по сердцу, и тогда я впервые в жизни поняла, как бывает, когда болит сердце.

Как это тяжело...

А у тебя тридцать лет болело сердце.

## II

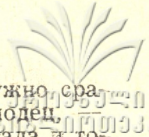
Теплый безветренный сентябрьский вечер.

Я сижу на веранде и смотрю на хребет Санисле.

А как часто, бывало, мы с мамой сживали так вечерами, глядя на горы, и мечтали.

Мама обычно вязала, а я чаще всего сидела без дела.

— Ты что, устала, Эка? — насмешливо спросит мама.



— Да, немножко. Хочу отдохнуть.

— Правильно, так и надо. Как только почувствуешь усталость, нужно сразу отложить все дела и отдыхать. Ты у меня в этом отношении молодец, уверенно говорила мама и добавляла с улыбкой: — А я ведь тоже устала и тоже хочу отдохнуть.

Она вставала и, бросив на меня выразительный взгляд, осторожно спускалась по лестнице во двор и направлялась к воротам.

Мама уверяла, что оттуда закат кажется особенно красивым.

Она любила стоять, взявшись за верхнюю рейку ворот и слегка раскинув руки, и мне казалось, что она вот-вот воспарит в воздух.

Иной раз она тихо напевала какую-то печальную песню, но я не могла различить слов и слышала только грустный мотив.

Возвращалась она, только когда солнце уже скрывалось за хребтом.

Помню, как-то раз я незаметно подкралась к маме совсем близко, но так и не смогла разобрать слов ее песни. Тогда я стала рядом. Мама почувствовала это, но виду не подала и на меня не взглянула. Она продолжала петь. И вдруг я поняла, что это была песня без слов. Но нет, я ошиблась. В ее песне было единственное слово «нанайя, нанайя, нанайя...» Но какая тоска звучала в нем! Нельзя представить себе, чтобы у человека было тяжелее на душе, чем у моей мамы, когда она так пела.

Так и стояли мы, глядя на заходящее солнце, — мама тихо пела, а я просто молчала.

Наконец солнце зашло. Мама опустила руки и, радостно улыбнувшись, весело и громко сказала: «Нанайя!» Это прозвучало как приветствие кому-то, кого мама долго ждала и наконец-то дождалась. Словно она хотела сказать: «Дай бог тебе радости за то, что ты так обрадовал меня своим приходом!»

Как сейчас помню, она положила мне на плечо руку и, улыбнувшись, сказала:

— Эка, принеси-ка гитару. Прошу тебя, сыграй что-нибудь и спой. Видишь, солнце уже скрылось и с Санисле к нам спустилась тишина. Сыграй и спой!

...И вот сейчас, когда я одна-одинешенька сижу на веранде и смотрю на заходящее солнце, мне кажется, мама стоит у ворот, раскинув руки, как для полета, и тихо-тихо поет грустную мелодичную песню, свою любимую песню без слов.

У ворот с корзиной в руке появился Сандро. Увидев меня, он открыл калитку, вошел во двор и неторопливым шагом направился к дому.

Поднявшись на веранду, он поздоровался со мной и опустил корзину на пол. В ней были груши и инжир. Во всем Хемагали только у Александре Чаничадзе такой инжир, и то одно-единственное дерево.

— Это твой отец прислал? — не подумав, спросила я.

Пауза.

Сандро потупился, глядя в пол, потом посмотрел на корзину и медленно поднял голову.

— Я собрал, тетя Эка, — смущенно улыбаясь, сказал он и залился краской.

А мне стало так стыдно, что я, по-моему, покраснела сильнее, чем Сандро. Ведь он специально для меня собрал фрукты, хотя знает, что их у нас в саду сколько угодно. Правда, все они уже перезрели, а я их не снимаю, потому что после смерти мамы меня на дерево палкой не загонишь. А раньше? Да, бывало, ни одни соседи без меня не обходились во время сбора фруктов и орехов. Я же мастер в этом деле. Ни одного ореха на дереве не оставляю... Сандро это известно. И вот он пожалел тетю Эку и решил обрадовать ее: принес инжир и груши. А тетя Эка ни с того ни с сего: «Это твой отец прислал?»

Конечно, Сандро стало неловко. Он в глаза мне смотреть не мог, когда, словно извиняясь, сказал:

— Я сам собрал, тетя Эка.

Я должна была его встретить веселой улыбкой, поблагодарить, сказать, что не надо было беспокоиться, а я сразу со своим вопросом. Что после этого мог подумать Сандро? Догадался, что даже в эти траурные дни я думаю о его отце? А вот его отец думает ли обо мне, помнит ли меня? Он ничего не просил передать мне? Наверняка Сандро все понял и поэтому покраснел. А может быть, это Реваз подсказал сыну, чтобы тот собрал фрукты и отнес мне, а если я спрошу, от кого они, чтобы ответил, мол, сам собрал. Вдруг все так было? А Сандро уже совсем взрослый... От мальчика в его возрасте ничего не скроешь...

— Если вам нужно кукурузу намолоть, я отнесу на мельницу, — сказал Сандро.

— Спасибо. Коки завтра это сделает.

— Почему Коки? Я возьму!



— Уже темнеет и на мельницу сейчас идти поздно, Сандро, — ласково сказала я.

— А я возьму кукурузу домой, а завтра утром, когда пойду на Сатевелу на рыбалку, занесу ее на мельницу и намолю.

Тут только я заметила, что Сандро стоит. Я вынесла из комнаты стул и поставила рядом со своим. Мы сели.

— Почему вы ничего не берете, тетя Эка? Я только что собрал. Ну, попробуйте, пожалуйста!

Я пошла в комнату и, выложив инжир и груши в вазу, вынесла ее на веранду. Пришлось поставить еще один стул, потому что стола на веранде не было.

— Давай угощаться вместе! — сказала я, беря инжир.

Сандро взял грушу.

— Ты на рыбалку один ходишь? — словно между прочим поинтересовалась я.

— Нет, вместе с отцом.

«Так, значит, это было поручение отца — взять у тети Эки кукурузу на помол, если ей надо. Завтра, мол, мы идем рыбу ловить и заодно зайдем на мельницу. А потом ты ей отнесешь муку, да и рыбу тоже. Так, наверное, сказал твой отец. Я знаю, что он это говорил, но ты будто забыл об этом. Каким же ты стал хитрым, Сандро!»

— Вы на удочки ловите? — спросила я, точно мне это было очень интересно.

— Сетями! У меня свои, а у папы — свои! — с гордостью сказал Сандро.

— У тебя есть настоящие сети? Большие?

— Такие же, как у отца.

— И ты умеешь забрасывать сети по всем правилам?

Сандро покраснел.

— Они у меня не совсем хорошо раскрываются, складки остаются, но рыба все равно ловится. Правда, не так, как у отца.

«И вот завтра утром твой отец закинет сети впервые в мою честь! И сделает он это красиво, мастерски. Рыбы попадет в них столько, что Реваз с трудом сможет ее вытащить. Он отберет не меньше десяти усачей, чтобы послать мне, ведь он знает, как я люблю эту рыбу. Пришлет он ее с тобой, а ты скажешь, что, мол, сам поймал. Это потому, что ты будешь выполнять наказ отца. Я, конечно, поблагодарю, но тебе не поверю, да, да, не поверю и все. И буду права. Краснеть мне не придется. А вот ты — другое дело. Ты глаз на меня не сможешь поднять. Вот так-то, мой маленький друг!»

— Завтра мы с отцом едем в Хергу. У вас никаких поручений не будет? — деловито спросил Сандро.

«Опять я должна верить, что это идея Сандро? Сколько раз отец брал его в Хергу, но Сандро меня никогда не спрашивал, нужно ли мне там что-нибудь. А Реваз знает, что после смерти матери я если и выхожу из дому, то только на кладбище. Даже к соседям не заглядываю, а в Херге не была почти два месяца. Раньше-то раз в неделю я обязательно ездила за покупками. Вот он и подумал, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и велел Сандро спросить, не нужно ли мне чего. Большое спасибо, дорогой Реваз, за внимание».

— На своей машине едете?

Сандро кивнул головой.

— Если сможете, купите мне немного пшеничной муки, килограммов пять, не больше.

— Так мука есть и в нашем магазине, тетя Эка! — поспешил сказать удивленный Сандро. — А больше вам ничего не надо?

Я ничего не могла придумать.

— Нет, Сандро, больше ничего!

Сандро как-то вдруг поскурился. Он снова положил в вазу так и не начатую грушу и потер ладонями колени, по-видимому, собираясь уходить...

«Хотел взять кукурузу, чтобы намолоть, и забыл об этом. Потом сказал, что утром едет с отцом в Хергу, так, мол, не надо ли там чего. Я попросила купить немного пшеничной муки, а она, оказывается, и в нашем магазине продается... Пойдет сейчас Сандро домой, а у ворот, я уверена, его встретит отец. Увидев, что у Сандро в руках только корзина, он решит, что моя кукуруза для помола лежит в ней. Я ведь никогда не молю помногу. Поэтому Сандро легко несет корзину, для него такая ноша не в тягость... Когда Сандро подойдет к воротам, Реваз, оглянувшись, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, громко спросит его:

— Как себя чувствует тетя Екатерина?

— Хорошо, — холодно ответит Сандро, и Реваз это почувствует.

— Она тебе обрадовалась?

— Тетя Эка сразу спросила: этот инжир и груши твой отец прислал?



— А ты что ответил?  
 — Я сказал, что я собрал, — смущенно скажет Сандро.  
 — А что было потом?  
 — Она выложила фрукты на вазу и стала меня угощать. **Приняла**  
 взять грушу.  
 — А она?  
 — Она попробовала инжир и сказала, что он очень вкусный.  
 Реваз сердито спросит сына, словно тот в чем-то провинился:  
 — Она дала тебе зерно, которое надо отнести на мельницу?  
 — Нет. Она сказала, что завтра Коки возьмет.  
 — Какой Коки? — раздраженно спросит Реваз.  
 — Отец, ты что, не знаешь Коки? Да это же мой товарищ, — спокойно скажет Сандро и снисходительно улыбнется отцу.  
 — А, наш Коки? Внук Абесалома Кикинавелидзе? — И Реваз успокоится. — А купить? Купить она ничего не поручала?  
 — Она сказала, ей надо немного пшеничной муки...  
 — Ну, что ж, купим! Не забудешь?  
 — Я ей сказал, что мука и у нас в магазине продается. Она очень удивилась, потому что не знала этого, и сказала, что тогда сама купит.  
 — Не нужно было ей этого говорить! Не нужно! — рассердится Реваз. — Она же попросила, чтобы мы купили! Надо было сказать: хорошо, купим, и все! Да и потом, разве в нашем магазине всегда есть мука? Нет, конечно! Твой же дедушка вчера с пустыми руками оттуда вернулся. Ему сказали, чтобы зашел на следующей неделе. Не забудь — мы обязательно должны завтра купить муку для тети Эки...  
 Потом Реваз отведет взгляд от сына и подумает: «Сандро ведь не знает, зачем Эке понадобилась мука. Ну на самом деле, откуда ему это знать? А я сержусь на него без причины. Да из этой муки маленькая Екатерина сделает хачапури и придет, но не мне и не Сандро, а Александре. Да еще в корзинку поставит графин инжирной водки и горшочек лобιο... Жалеет маленькая Екатерина Александре. Правда, когда жива была ее мать, она чаще присылала гостинцы. Верно, та была еще достаточно бодрая и помогала дочери готовить. И даже, когда уже большая Екатерина заболела, Эка умудрялась присылать что-нибудь. Конечно, это бывало не очень часто, но все-таки... Знает Эка, что Александре у нас за хозяйку в доме, вот и жалеет старика, хочет помочь ему как может, облегчить ему жизнь...»  
 Бойится Реваз своих собственных мыслей, не хочет, чтобы кто-нибудь узнал о его сокровенном желании.  
 Во двор вошел Коки. Увидев нас с Сандро, он пустился к нам бегом и, не останавливаясь, одним духом взлетел по лестнице на веранду.  
 — Меня к вам послал Гуласпир, тетя Эка! — выдохнул он. Я испугалась.  
 — Что, ему плохо?  
 Коки улыбнулся.  
 — Дядя Гуласпир наказал мне: пусть завтра пораньше Эка приготовит на четверых завтрак, как у нас полагается. Больше ничего не говори. Она сама обо всем догадается.  
 И я догадалась.  
 Гуласпир делал так и при жизни мамы. Только тогда он ни через кого не передавал свою просьбу, а сам под вечер являлся к нам в дом. Он внимательно осматривал грушевые и инжирные деревья, а потом нараспев обращался к маме:  
 — Завтра утром, калбатано Екатерина, приготовьте завтрак, достойный Гуласпира Чапичадзе.  
 При этом в голосе его звучали повелительные нотки. Потом он еще раз бросил взгляд на фруктовые деревья и, тихо напевая, вышел со двора.  
 На следующее утро он появлялся спозаранку и шел прямо в сад. Набрал целую корзину инжира, он громко звал меня с дерева:  
 — Экуся, девочка, освободи мне корзину!  
 Я вскакивала с постели и выбегала на веранду.  
 — Ах ты, соня! — кричал он мне сверху. — Быстрее одевайся и помоги мне.  
 Через некоторое время и я залезала на дерево на подмогу Гуласпиру. Мама ругала меня за это, боялась, что упаду, а Гуласпир ее подзадоривал.  
 — Если я упаду с такой высоты, то душа моя скажется отдельно от моего тела, а Экуся — что? Она — ровно птаха, крылышки-то раскроет да и долетит до земли.  
 ...Через месяц вечером к нам опять приходил Гуласпир. Он распечатывал большие зарытые в землю кувшины с инжиром и грушами, доставал сок, нюхал его, пробовал на язык и плевался, говоря, что очень кисло. Потом он наказыв-

гал маме приготовить назавтра подходящий случаю завтрак и уходил. На другой день Гуласпир приходил очень рано и начинал гнать водку. Во время первой перегонки Гуласпир не переставал балагурить, да и мама не отставала от него. Любо-дорого было на них смотреть. А вот когда дело доходило до второй перегонки, начинались прения.

— Хозяйка — я, водка — моя, и ты должен меня послушаться, — почему-то грубым, почти мужским голосом говорила моя мать Гуласпиру.

— Прошу прощения, дорогая хозяйка, но Гуласпир Чапичадзе знает это дело лучше, чем Екатерина Хидашели, так почему же он должен ее слушаться, а? Ну, почему, скажите? Вы, уважаемая, — теперь уже язвительно продолжал Гуласпир, — хотите, чтобы я сделал дамский напиток, так я осмелюсь вам заметить, что дамы даже близко подходить к водке не должны. Ну какая, скажите, добродетельная женщина пьет водку?.. Да это только тебе одной позволительно, только тебе, Эка! Ты ведь у нас женщина крепкая!

— Крепкую водку ты гони для себя отдельно, — поддразнивая его и смеясь, говорила мама (это уже была уступка). — Но я тебе советую, — все-таки язвила она, — и для себя гнать слабую водку. Ведь стоит тебе выпить стопочку первача у Александре Чапичадзе, как ты начинаешь болтать так, что тебя не остановишь, и такой вздор несешь, не приведи господи...

Тут уж Гуласпир сердился не на шутку...

— Ну, докажи, что это так! Да напони мне, о каком таком вздоре идет речь!

— Ты по пьяной лавочке болтаешь такие глупости! Разве я могу их повторить? — победно улыбалась мама. — Скажи! Напони! Да господи упаси! Но Гуласпира уломать было нельзя.

— Ты хочешь, чтобы я выгнал слабую водку, и поэтому повторяешь сплетни, будто стоит мне пропустить стаканчик водки, как я становлюсь брехуном, и таким и сяким. Враки все это! Но, Эка, хорошо, будь по-твоему! — в конце концов сердито говорил Гуласпир, подбрасывая в огонь дров.

— Да, а когда это, интересно, я пила водку? — вдруг сердилась моя мама.

— Хе-хе, — радостно хихикал Гуласпир. — Калбатони Екатерина не пьет! Да я же знаю, что вы делаете это потихоньку от всех. От Гуласпира Чапичадзе ничего скрыть нельзя.

— Так вот, это последняя перегонка. Сколько получится, пусть все твое будет, и ты какую водку хочешь, такую и делай: хоть крепкую, хоть слабую! И хватит об этом! — И, считая спор оконченным, мама ушла в кухню.

— Ого, ничего не скажешь, хорошо разделила. Сорок литров себе и всего десять Гуласпиру. Я что, твой раб? — делая вид, что сердится, кричал Гуласпир вслед выходящей из марины матери.

И такая шутливая перепалка продолжалась у них целый день. А Гуласпир в конце концов выгонял водку такой крепости, как хотела моя мама.

Под вечер к нам приходили Александре Чапичадзе и Абесалом Кикнавелидзе, а попозже — жена Гуласпира Кесария и невестка Абесаломы — Дудухан. Мама накрывала на веранде стол, и мы до поздней ночи балагурили, смеялись и пели, в общем, веселились как могли...

Все три дня, пока гнали водку, у нас в доме веселье не кончалось.

— Кто эти четыре человека? — спросила я Коки.

— Моя мама, Сандро и я. Четвертый — сам дядя Гуласпир. «Вы с Сандро сегодня пораньше ложитесь спать, чтобы завтра мне не пришлось будить вас», — предупредил меня дядя Гуласпир. Так что мы с ним сейчас пойдем, — сказал Коки, и они с Сандро поднялись.

— Завтра отец берет с собой Сандро в Хергу, поэтому четвертой буду я сама. А теперь идите, — сказала я и посмотрела на Сандро.

— Я не поеду в Хергу, тетя Эка! — весело улыбаясь, сказал Сандро.

— Как это не поедешь? Ты же сказал, что отец берет тебя с собой?

— Да отец в Тбилиси, тетя Эка!

— В Тбилиси? Ты же сказал, что утром вы на рыбалку идете? А когда он уехал? — удивилась я.

— Он там уже три дня. Перед отъездом он просил меня починить его сети, они были порваны в нескольких местах, и обещал в воскресенье взять меня на рыбалку, а потом в Хергу. Отец придет сегодня ночью. Я скажу ему, что я завтра должен помочь вам и никуда не пойду.

Когда Коки и Сандро ушли, я всплакнула, а потом вдруг начала смеяться как сумасшедшая.

...Завтра рано утром придет Гуласпир, да и Коки с Сандро тоже...

Я знаю, сегодня ближе к ночи ко мне придет Дудухан, чтобы все заранее приготовить. Она вычистит и вымоет котел, в котором будут гнать водку, зарежет и выпотрошит курицу, сварит фасоль, переберет зелень, а потом, уже за полночь,

встанет, и когда придут Гуласпир, Сандро и Коки, на столе их будут дожидаться жареная курица, лобно и горячие мчади.

Когда в моем саду будут собраны груши и инжир, их ссыпят в большие кувшины, что зарыты в землю... Через месяц, обязательно в субботний вечер, придет Гуласпир и, открыв кувшины, достанет сок, который сначала понюхает, а потом попробует на вкус. Уже прокисло, скажет он, сплевывая, и обратится ко мне, как раньше к маме, мол, приготовь завтрак на утро, Эка, все, что полагается для Гуласпира Чапичадзе.

В воскресенье он придет с утра пораньше, перекусит тем, что я ему приготовлю, и начнет гнать водку. Потом подойдут его помощники Сандро и Коки. Когда стемнеет, появятся Александре и Абесалом, а позже подойдут и Кесария с Дудухан. Мы с женщинами соберем на веранде ужин, и мужчины молча, без единого слова сядут за стол. Александре усадит рядом с собой Сандро, Абесалом — Коки. Потом, когда и мы к ним присоединимся, встанет Гуласпир и произнесет первый тост:

— Пусть господь просветит душу нашей Екатерины!

И все молча выпьют за мою маму.

У Гуласпира, Александре и Абесалома на глазах выступят слезы, и они опустят головы, чтобы я этого не увидела, и я тоже буду изо всех сил крепиться, чтобы не расслакаться. Сердце у меня занует и станет так тяжело на душе.

...До самой ночи я сидела на веранде и незаметно задремала. Потом пришла Дудухан и разбудила меня. Мы поужинали и легли. Дудухан сразу же заснула, а я встала, на цыпочках прошла через комнату и, как была в ночной рубашке, вышла на веранду. Облокотившись на перила, я стала смотреть на горы.

Ночная тьма зачеркнула хребет Санисле, скрылось в темноте Хемагали. Тепло и тихо. Не слышно шума Сатевелы, молчат даже сверчки, спит окутанная темнотой деревня, а на кладбище спит моя мама. Стою я в одной рубашке на веранде, глаза у меня открыты, а я ничего не вижу.

### III

Пока не закончились зимние каникулы, директора в нашу школу не назначали. Не могу сказать, было ли это данью уважения моей матери или просто отдел просвещения не смог сразу подыскать подходящую кандидатуру на эту должность.

Кабинет директора в новой школе стоял закрытый, и мне это было приятно. Почему? Не могу объяснить. Я в какой-то степени радовалась этому, даже гордилась этим в глубине души.

Я тоже не приходила в школу до конца зимних каникул.

Нет, ошибаюсь.

Один раз я была там.

Не больше двух месяцев прошло после кончины мамы, когда наш завуч Кетэван Кикнавелидзе прислала мне через Сандро записку, чтобы я зашла в школу.

Я встала утром пораньше, быстро убралась в доме, а потом на минутку снова зашла в мамину комнату, словно чтобы извиниться перед мамой за то, что я ухожу в школу и оставляю ее одну.

Но стоило мне выйти за ворота, как мне послышался мамин голос:

— Я тоже иду, Эка!

Мне стало не по себе.

Я оглянулась по сторонам, потом посмотрела во двор, оглядела и кухню, и дом, но поблизости никого не оказалось. А ведь я так ясно слышала голос мамы. Я даже решила было вернуться домой, но мне стало неудобно перед калбатони Кетэван, и я с каким-то боязливым чувством продолжила свой путь.

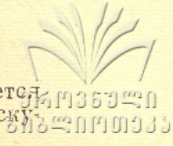
Шла я быстро, почти бежала, а потом вдруг рассердилась на себя. Ну, чего это я испугалась материнского голоса? Но открыв школьную калитку, я опять услышала голос матери: «Ну, Эка, вот мы и пришли. Я устала, мы очень уж быстро шли». Я села на скамейку там же, у школьных ворот, и представила себе, что мама сидит рядом со мной. Как будто мы пришли с ней вместе, а теперь отдыхаем, прежде чем зайти в школу.

И мне не только не страшно, наоборот, я рада, что рядом со мной моя мама, и я хочу, чтобы мы сидели так еще долго-долго.

— Мама, прости меня за то, что я испугалась твоего голоса, — сказала я про себя.

Закрыв глаза, сижу я на скамейке и все же вижу новое здание школы, вижу в нем кабинет моей матери, ее письменный стол с приставленным к нему длинным столом, мамино кресло, вижу мягкие стулья вокруг этого стола. В кабинете тихо, стенные часы никто не заводит, и они остановились. Душно и тихо. Мертвая тишина в кабинете моей матери.

Я торопилась и устала. Немного передохну, а потом войду в школу, поднимусь на третий этаж в мамин кабинет и первым делом заведу часы. Когда они за-



тикают, я раздвину белые шелковые шторы, открою окна, и в кабинет ворвется чистый утренний воздух, шум и гам школы, и улетучатся из кабинета матери скамья и гишина...

— Эка, ты так быстро шла, что я не смогла тебя догнать.

Не узнавая, чей это голос, я очнулась и открыла глаза.

Передо мной стояла Кетэван Кикнавелидзе. С улыбкой поздоровавшись со мной, она села на скамейку.

— Почему ты так быстро шла, Эка? Я никак не могла тебя догнать.

Кетэван посмотрела на часы.

— До начала уроков еще двадцать минут.

Пауза.

Кетэван Кикнавелидзе преподавала в хергской школе. Год назад, когда нашу школу реорганизовали в среднюю, мама предложила ей должность заведующей учебной частью и учительницы истории.

— Разве можно так уединиться и жить затворницей? — упрекнула меня Кетэван. — Для человека одиночество — смерть. Да, одиночество смерти подобно. Ты молодая, у тебя еще вся жизнь впереди, а ты... — Кетэван еще много чего говорила мне, но я была как в тумане и только это и запомнила.

Как только я вошла в учительскую, меня окружили друзья. Все очень обрадовались моему возвращению в школу. Некоторые так разглядывали меня, словно мы не виделись целую вечность. Я была так тронута всеобщим вниманием, что разрыдалась.

Всем стало неловко.

На мое счастье прозвонил звонок, и Кетэван почему-то громко обратилась к учителям, мол, почему вы все здесь стоите, разве звонка никто не слышал.

Когда мы остались одни, Кетэван наклонилась ко мне и шепнула, чтобы я поплакала, и вдруг разрыдалась сама.

Мне стало стыдно своей слабости, и я изо всех сил старалась взять себя в руки.

— Простите меня, калбатано Кетэван, — умоляюще сказала я.

— Что я должна тебе простить? — вздохнув, сказала Кетэван. — Твоя мама была особенная, не похожая на других женщина, Эка. Я сама не могу удержаться от слез, когда вспоминаю ее.

Пауза.

— Семь лет она была моей учительницей. Тебя тогда еще и на свете-то не было и ты, наверное, об этом не знаешь.

— Знаю.

— Потом меня тетя забрала в Тбилиси и, когда я готовилась к поступлению в университет, Екатерина приехала проведать меня и осталась у нас на целый месяц, чтобы подготовить меня к экзаменам. Это ты тоже знаешь?

— Нет. Этого мне мама не рассказывала.

— Не рассказывала? — переспросила Кетэван. — Вот такая она была. Никогда не говорила о своих добрых делах.

У Кетэван опять глаза наполнились слезами, и она отвернулась.

— Директора назначать не собираются? — специально перевела я разговор на другое.

Пауза.

— Собираться-то собираются, но такого, который мог бы заменить Екатерину, не найдут, — убежденно сказала Кетэван и, украдкой смахнув слезу, посмотрела на меня.

— А вы?

— Что я? Да разве я могу заменить Екатерину? — вдруг, сердясь, вспыхнула Кетэван.

Но я не отступала.

— Вам ведь предлагали?

— А ты откуда знаешь? Кто тебе сказал? — повысила голос Кетэван.

Пауза.

— Я сама догадалась! Кого же еще можно назначить? — удивилась я.

Я было подумала, что она поверила мне, но ее взгляд говорил обратное.

— Наверняка кто-то сказал тебе! — убежденно сказала Кетэван и снова посмотрела на часы.

«Калбатони Кетэван и сама прекрасно знает, что как педагог я сейчас нигде не гожусь. Жалееет она меня и думает, что, может быть, я в работе найду утешение и прибежище от одиночества. Поэтому она сказала, что мой отпуск кончился и завтра я должна выйти на работу. А нужна ли я теперь в школе? Нет. Ведь еще мама отобрала у меня шестой и седьмой классы и передала их Лии Гургенидзе. А сейчас Лия ведет за меня и четвертый, и пятый классы. Зарплату-то она мне принесла, но я поблагодарила ее и, конечно же, деньги ей

вернула... Это тоже известно Кетэван, и поэтому она жалеет меня и хочет хоть как-нибудь помочь мне».

— Я пойду, — сказала я и встала.

— Куда ты хочешь идти, Эка? — очень удивилась Кетэван и, схватив меня за локоть, снова заставила сесть.

— Я пойду домой. Не могу я оставаться здесь...

Она поверила мне.

— У меня второго урока нет, я пойду с тобой, — сказала она, и мы ушли. Стоило нам выйти за ворота, как мне опять послышался голос матери.

— Я тоже иду, Эка! — и до меня донесся звук ее шагов.

Я остановилась.

— Ты ничего не забыла в школе?

Пауза.

— Что-то оставила? — спросила Кетэван.

— Мне послышался мамин голос, — грустно сказала я и взглянула на Кетэван.

— Успокойся, Эка! — ласково пожурила она меня. — Вы ведь с мамой всегда вместе приходили в школу и вместе уходили. Ты вспомнила это сейчас, вот тебе и померещилось, что ты слышишь ее голос. Пошли.

По дороге я немного успокоилась и пришла в себя.

«Сейчас-то калбатони Кетэван наверняка убедилась, что я веду себя как помешанная: что-то невероятное мне мерещится, слышится голос умершей матери. Должно быть, Кетэван боится идти рядом со мной, но она жалеет дочь Екатерины Хидашели. Проводит она меня домой, скажет что-нибудь ласковое, постарается приободрить и, давая последние наставления, громко закончит: «Эка, нужно перебороть себя! Все мы дети смерти! Так что ничего не поделаешь. Сначала родители покидают этот мир, потом... Тут калбатони Кетэван задумается и, понизив голос, скажет, глядя мне в глаза: — Я была моложе тебя, когда у меня умерла мать. И я, как и ты, долго горевала, но прошло время, и у меня откуда-то появились новые силы, печаль моя прошла. И в школу я вернулась, потом вышла замуж». Калбатони Кетэван опять задумается и, улыбаясь, тоном знающего человека скажет: «И с тобой так же будет, Эка! Вернешься в школу, и за работой твоя боль притупится, забудется горе. Тебя ждут твои ученики, твои друзья и товарищи, я жду тебя, Эка».

Всю дорогу от школы до моего дома мы молчали.

Около ворот Кетэван остановилась.

Я решила, что она собирается начать свою лекцию.

И ошиблась.

Кетэван посмотрела на свои часы и удивилась.

— Я побегу в школу, а то опоздаю на урок. — Она опять взглянула на часы. — Да, бегу, а в три часа я приду к тебе. Обязательно приду.

Я растерялась.

«Я собираюсь на кладбище, а Кетэван придет прямо из школы, голодная, и если я ее чем-нибудь не угощу...»

— Калбатони Кетэван, меня Дудухан просила зайти. У нее ко мне какое-то дело, — солгала я.

— Ну, так это еще лучше, — улыбаясь, сказала Кетэван. — Я тоже к ней приду. Ложку лобно и кусочек мчади она для меня как-нибудь найдет.

Она помахала мне рукой и ушла. Ушла быстрой, торопливой походкой.

За всю дорогу я так и не осмелилась еще раз спросить Кетэван, почему она отказалась стать директором школы, а сама она ничего не сказала. Когда я ее сразу об этом спросила, она рассердилась, с чего ты это, мол, взяла. А ей ведь на самом деле предлагали...

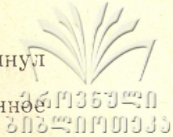
Мне досконально известно, почему Кетэван Кикнавелидзе отказалась от директорства, и в этом рассказе маленькой Екатерины я сам опишу, как все произошло на самом деле.

На сороковины большой Екатерины из Херги приехал Калистратэ Табатадзе, а с ним и сотрудники районного отдела просвещения. На кладбище он сказал несколько теплых слов о покойной и сообщил присутствующим, что ходатайство местного руководства удовлетворено и отныне хемагальская средняя школа будет носить имя Екатерины Хидашели.

Закончив свою речь, Калистратэ Табатадзе попросил Кетэван Кикнавелидзе на следующий день приехать к нему в Хергу. Потом он извинился перед маленькой Екатериной, сказав, что он должен уехать, так как его ждут в райкоме партии, но его сотрудники останутся.

На второй день Кетэван приехала в Хергу.

Калистратэ любезно встретил ее, предложил ей кресло и, улыбаясь, выд-



вынул ящик стола. Достав папку, он вынул из нее какую-то бумагу и протянул ее Кетэван.

— Поздравляю вас! Теперь от вас зависит, как вы оправдаете оказанное вам доверие.

Прочитав документ, Кетэван нахмурилась и с холодным выражением лица положила его на стол.

— Я не согласна! — решительно сказала она.

Пауза.

— Почему? — удивленно воскликнул Калистратэ.

— Если бы вы в свое время спросили меня об этом, я сказала бы.

— Это вопрос решенный, уважаемая Кетэван. Приказ есть приказ, — повысил голос Калистратэ. — Возьмите свое назначение и вы свободны, дело закончено.

Он улыбнулся с чувством собственного превосходства, и Кетэван не сдержалась.

— Я не подчиняюсь вашему приказу! Пусть ваш приказ останется при вас. — Теперь уже победно улыбнулась она. — Я пойду к Константиноэ Какубери. — Она оставила бумагу с приказом на столе, встала и направилась к двери.

— Пойдите, пойдите к Какубери. И очень хорошо сделаете. Это как раз он посоветовал мне назначить вас, — со злорадством в голосе сказал Калистратэ подошедшей к двери Кетэван.

Кетэван прекрасно знает Калистратэ Табатадзе. Не говоря уже о другом, они год учились вместе в хемагальской школе. Потом, уже работая преподавателем в Херге, она ближе познакомилась с заведующим районным отделом просвещения. Кетэван преподавала историю сыну Калистратэ, и Калистратэ как должностное лицо и отец ученика был частым гостем в хергской первой средней школе.

Как-то, неожиданно для всех, Калистратэ перевел учителя химии из первой школы в другую, уверив директора, что таково было желание Константиноэ Какубери. А директор первой школы был человеком мягким и нерешительным. Действительной же и единственной причиной перевода учителя было то, что сын Калистратэ был очень слаб в химии, а учитель химии не давал ему поблажки.

И вот теперь, когда Калистратэ с таким важным видом сказал Кетэван, что ее назначили директором школы по совету Константиноэ Какубери, она решила, что это его обычный прием, и сразу отправилась в райком партии.

На ее счастье Константиноэ оказался на месте, и в приемной его не ждали посетители.

Как только секретарша сказала ему, что пришла Кетэван Кикнавелидзе, Константиноэ сам вышел ей навстречу и, улыбнувшись, склонил перед ней голову. «Новому директору новой школы наш низкий поклон», — сказал он и пригласил Кетэван в кабинет.

Кетэван удивилась.

«Видно, иногда Калистратэ говорит правду».

Константиноэ усадил ее в мягкое кресло и сам сел рядом.

Пауза.

Кетэван ничего не говорит, а Константиноэ ни о чем ее не спрашивает.

— Вы, наверное, по школьным делам? — решил нарушить молчание Константиноэ.

— Да-а-а! — нараспев растерянно сказала Кетэван и последнее не ускользнуло от внимания Константиноэ.

Он потянулся к письменному столу, взял пачку сигарет и открыл ее.

— Курить можно?

Улыбнувшись, Кетэван в знак согласия кивнула головой.

— Сейчас у вас хороший коллектив учителей, — уверенно сказал Константиноэ, словно и не требуя подтверждения своих слов.

— Хороший, очень хороший! — искренне сказала Кетэван.

— И здание хорошее.

— Да, построено оно прекрасно.

— За это надо благодарить Реваза Чапичадзе. У него в совхозе отличная бригада строителей, во всем районе не найти таких мастеров. Особенно хороши спортивный и актовый залы! Я не думаю, что у нас в республике есть вторая такая школа.

— Спортивный зал-то в самом деле хороший...

— Я знаю, что у вас нет преподавателя физкультуры, — не дал ей договорить Константиноэ. — В нашем районе ни отдел просвещения, ни спорткомитет никого нам не могли порекомендовать, но недавно я был в Тбилиси, и в республиканском комитете физкультуры мне обещали обязательно подыскать человека. Так что скоро у вас будет преподаватель физкультуры.

«Я ее не вызывал, она сама пришла, ни о чем не спрашивает, ни о чем меня не просит».

— Я пришла по своему делу, батоно Константиноэ, — словно угадывая его мысли, сказала Кетэван.

— Говорите, не стесняйтесь!

— Я не справлюсь с обязанностями директора школы, — глухо сказала Кетэван и опустила голову.

Константиноэ встал, подошел к тому окну, которое было открыто, закрыл его и, придвинув свое кресло ближе к Кетэван, сел.

— В чем дело?

Пауза.

— Я прошу вас, не спрашивайте меня ни о чем! — опять глухо сказала Кетэван.

Плечи у нее задрожали, на глазах показались слезы.

Константиноэ стало неловко, он опять встал с кресла, медленно прошелся по кабинету, а потом сел за свой стол. Выдвинув ящик, он достал из него папку и открыл ее.

— Уж не дочка ли с зятем зовут вас обратно в Хергу? — сказал он. Казалось, что Константиноэ прочитал это в папке. Потом он захлопнул ее, снова положил в ящик и посмотрел на Кетэван.

— Да их Реваз Чапичадзе уговорил перейти работать в совхоз, — заметно повеселев, сказала Кетэван. — Ведь мой зять — агроном, а дочка — биохимик....

— Знаю. Я их обоих знаю. Ревазу не надо учить, кого звать в совхоз. Это дело хорошее. Я рад. Внуки у вас есть?

— Да вот ожидаю. — И лицо ее расцвело в улыбке.

— Ну, вы счастливая женщина. И скоро?

— Скоро! Так через недельку!

— Ого! — развеселился Константиноэ. — Если на крестины не позовете, обижусь.

Мысли Константиноэ Какубери: «Сначала Реваз Чапичадзе посоветовал, а потом и вся школа просила, чтобы директором назначили Кетэван. Да, вся школа — учителя, комитет комсомола, родительский комитет... Со дня смерти Екатерины Хидашели школой руководила Кетэван, поэтому ее и назначили директором, а она отказывается, да еще не говорит почему... Я было подумал, что ее дочь с зятем в Хергу зовут, так нет!»

— Нам посоветовал назначить вас директором Реваз Чапичадзе, — спокойно сказал Константиноэ и снова, достав из ящика стола папку, открыл ее.

— Реваз Чапичадзе? — удивилась Кетэван. — Какое отношение имеет Реваз Чапичадзе к школе?

— Вы ошибаетесь, и очень ошибаетесь, товарищ Кикнавелидзе, — сердито сказал Константиноэ. — Его касается то, что происходит не только в вашей школе, но во всем нашем районе.

Константиноэ закрыл папку и, закурив сигарету, встал.

— Как это, какое отношение имеет Чапичадзе к вашей школе? Как вы могли такое сказать? — горячился Константиноэ. — Ведь как раз для того, чтобы спасти эту школу, он приехал из Тбилиси. Неужели вы не знаете этого? Ваша школа была уже закрыта, и Екатерина Хидашели скрывала это от всей деревни, даже дочери своей не сказала. Сама целый год работала, не получая зарплаты, а дочери платила из своей пенсии. Да, год ваша школа была частным учебным заведением. Неужели и это вам не известно?

— Нет, я не знала!

— Что Чапичадзе начал строить раньше — контору совхоза и лабораторию или школу?

— Не могу сказать. Меня тогда не было в Хемагали.

— Ну, так я вам скажу. Сначала он заложил фундамент конторы совхоза и лаборатории, а потом фундамент школьного здания. А что раньше выстроил?

— Школу. Это-то я знаю.

— Как вы думаете, спасибо за это Чапичадзе сказали? А клуб? Здание клуба должны были построить отдельно, на территории совхоза. Так было запланировано. А Чапичадзе добился того, чтобы клуб пристроили к зданию школы. Для чего? Да только для того, чтобы школа тоже могла им пользоваться. А вы говорите, какое отношение имеет Чапичадзе к школе. Уж от вас-то я этого не ожидал, калбатоно Кетэван! Чего не ожидал, того не ожидал!

— Вы меня не поняли, батоно Константиноэ, — извиняющимся тоном сказала Кетэван.

— Я вас прекрасно понял, — усмехнулся Константиноэ. — Мол, раз Реваз Чапичадзе директор совхоза и заведующий лабораторией, пусть он ими и занимается, а в школьные дела не вмешивается. Как было сказано, так я и понял!



— Извините, но вы ошибаетесь! — решительно возразила Кетэван, глядя Константиноэ в глаза. — Просто я хотела сказать, что я лучше знаю положение дел в школе, чем Реваз Чапичадзе. Только и всего. Может быть, я не смогла как следует выразить свои мысли.

— Тогда почему же вы мне не говорите о школьных нуждах?

Пауза.

— Говорите, не стесняйтесь!

— Нашей школе нужна твердая мужская рука, — спокойно сказала Кетэван.

— Мужская рука? — удивленно переспросил Константиноэ и, закурив сигарету, сел рядом с Кетэван.

— Вот именно, твердая мужская рука, — убежденно сказала Кетэван. — Мальчики из девятого и десятого классов буквально вверх дном школу переворачивают. Они курят, ругаются, безобразничают на уроках, пропускают занятия... Я наверняка знаю, что они даже в кости играют. Ими такой сорви-голова верховодит...

— Кто?

— Десятиклассник... Аскален Джиноридзе.

— Сын Грамитона Джиноридзе?

— А вы знаете Грамитона? — удивилась Кетэван.

— Очень хорошо знаю. Он заведующий пекарней, не так ли? — опять начал горячиться Константиноэ. — Он первым сбежал из Хемагали, купил в Сурами место заведующего пекарней и стал обманывать покупателей. А в Хемагали дом оставил за собой и хемагальские фрукты возил продавать в Сурами. Сначала он отказывался вернуться в Хемагали, но когда узнал, что мы строим здесь пекарню, развил бурную деятельность и сумел так понравиться Ревазу Чапичадзе... Это такой пройдоха, в карты играет, и в кости тоже... Мне все известно. Я собираюсь снять его с работы. Если хочет, пусть работает в совхозе простым рабочим. А сыну его скажите, что если он не исправится, то будет исключен из школы.

Он прикурил от своего же окурка.

— У меня было другое впечатление о вашей школе, — с сожалением сказал Константиноэ. — А в прошлом и позапрошлом году тоже так было?

— Нет! — убежденно сказала Кетэван. — Екатерина Хидашели была необыкновенная женщина. Когда ученики начинали в коридоре слишком громко смеяться, она, будто случайно, проходила по коридору, и этого бывало достаточно... Никакого шума на уроках, никаких пропусков занятий без уважительной причины. Она сама никогда не повышала голоса, и я не слышала, чтобы ее ученики громко разговаривали. Она умела так посмотреть... Очень сильная она была женщина, и я не думаю, чтобы нашелся человек, который сможет ее заменить...

— Что правда, то правда! В этом ей нельзя было отказать, — поспешил засвидетельствовать Константиноэ. — Однажды она пришла ко мне очень взволнованная. Наш разговор происходил как раз в этом кабинете. — Товарищ Какубери (она почему-то всегда обращалась ко мне только по фамилии), ветер снес крышу нашей школы. Райисполком и отдел просвещения тянули-тянули дело с ремонтом, а теперь мне сказали, что ремонт нашей школы не включен в смету на этот год. Так что же, пусть совсем пропадает здание, что ли? Оставить деревню без школы? Распорядитесь, чтобы нам перекрыли крышу.

— Я могу только попросить помощи в Министерстве просвещения...

— Это означает отказ! Дипломатический отказ! — резко ответила мне она на это.

— Ну, хорошо. Допустим, материал для крыши мы достанем, но как его доставить в Хемагали? Дороги-то нет?

— А о чем думает ваш райком? Почему в Хемагали не проводится дорога?

— Провести дорогу в Хемагали дело нелегкое, калбатано Екатерина, — сказал я.

— Так райком как раз и должен заниматься нелегкими делами, а иначе для чего он нам вообще нужен, — с иронией сказала она.

Я только покраснел и ничего не смог ей возразить.

Екатерина поехала в Тбилиси, и через месяц крышу в хемагальской школе перекрыли, и не дранкой, а черепицей. Она на лошадях заставила перевезти в Хемагали семсот штук черепицы. Сильный характер был у Екатерины. Она занималась делами не только школы, но всей деревни.

Кабинет был полон сигаретного дыма, и Константиноэ открыл окно.

— Извините меня. Я всегда очень много курю, когда волнуюсь. — И он опять затянулся сигаретой. — Только теперь я буду курить около окна.

И Константиноэ вспомнилась его последняя встреча с Екатериной.

«Было это в позапрошлом году в Хемагали. На веранде у Александре Чапичадзе за столом сидели Екатерина Хидашели, Гулеспир Чапичадзе, Александре



и я. Тамадой был Гуласпир. Когда пили за мое здоровье, Екатерина процедила мне на ухо, чтобы никто не услышал: — Несчастье не в том, чтобы не совершить ошибку, а в том, чтобы ее не повторить. Я уверена, что вы больше не ошибетесь. Она сказала мне это ласково, а потом поцеловала меня в лоб, и я понял, что она простила меня».

У Константиné на глаза навернулись слезы. Кетэван заметила это и, смутившись, встала.

— Я пойду, батоно Константиné, — нерешительно сказала она.

— Извините, я задумался, — с грустной улыбкой сказал Константиné. В глазах у него все еще стояли слезы.

Он закрыл окно, потушил о пепельницу сигарету и, достав из кармана платок, вытер глаза.

— Ну, что ж, идите. Я что-нибудь придумаю. Я сам приеду к вам... Вы прямо домой?

— Да. Вечером у нас в школе родительское собрание.

— Около подъезда моя машина. Скажите шоферу, чтобы он отвез вас в деревню.

#### IV

Всего три дня, как Шадимана Шарангиа назначили директором школы, а деревня полнится слухами.

И число новых сплетен растет не по дням, а по часам.

Вчера у меня была Лия Гургенидзе, которая принесла самые последние сведения о Шадимане, поставив все точки над «и». Как выяснилось, Шадиман Шарангиа, оказывается, и историк, и литератор, и философ, но вот уже почти двадцать лет он на ружейный выстрел не подходил к школе и не брал в руки книги. Он работал директором ресторанов и столовых в Тбилиси, Хашури, Поты, Зестафони, а последние четыре года был директором хергского ресторана «Перевал». Вся наша школа взбудоражилась: что за беда на нас свалилась, осрамили память Екатерины Хидашели. Не заслужила она такого. Это, мол, деньги сделали свое дело, ведь у Шарангиа их куры не клюют. Наверняка он подкупил Калистратэ Табатадзе. А еще люди говорят, сообщила Лия, что в этом деле чувствуется рука жены Реваза Чапичадзе. Оказывается, ее родители и Шадиман Шарангиа соседи по лестничной площадке в Тбилиси, а у супруги Реваза такой твердый характер, что если она чего захочет, непременно своего добьется. Этот господин Шарангиа, оказывается, итхвисский, вот взяли бы и назначили его в Итхвиси, а нашего Арчила Джиноридзе перевели бы из итхвисской школы в нашу. Так нет, видно, не рискнули послать Шарангиа в родные места. Это только с нами можно так поступать.

Вся школа встала на ноги. Целая группа учителей решила идти к Константиné Какубери и потребовать, чтобы он снял Шарангиа с должности директора хергской школы...

Еще много других сплетен сообщила мне Лия, но я запомнила только это.

Я предложила ей остаться у меня поужинать, но она отказалась. Видно, ей не терпелось узнать, что еще нового говорят о Шарангиа в деревне.

Я проводила Лию до ворот, а когда вернулась в дом и поднялась на веранду, спать услышала ее голос.

— Эка, — позвала она меня, став на забор, — я чуть было не забыла передать тебе то, из-за чего приходила. Шадиман Шарангиа просил тебя завтра утром прийти в школу. Непременно. За тобой зайти?

— Нет, не надо.

— Да, учителем физкультуры назначили брата жены Реваза Чапичадзе, — со злорадством сообщила Лия.

Я удивилась. Эта новость неприятно поразила меня.

Назначение Шадимана Шарангиа директором злые языки связывают с именем Реваза Чапичадзе, но Лия почему-то ни словом об этом не обмолвилась. Если на это добились согласия Константиné Какубери, то только благодаря Ревазу Чапичадзе. Но какое отношение ко всему этому имеет жена Реваза Русудан? Она не желает и ногой ступить в Хемагали, так не все ли ей равно, кто будет директором хемагальской школы. Неужели Русудан послала своего брата в деревню преподавать физкультуру? Нет, этого-то Лия Гургенидзе не говорила, но она явно на это намекала, так многозначительно говоря о назначении брата жены Реваза.

А может быть, мне просто показалось, а?

Ночь у меня выдалась беспокойная.



До полуночи я просидела около камина, перелистывая книгу Сулхана-Сабора Орбелиани «Мудрость лжи». Я читала уже столько раз читанные и перечитанные басни, но смысл их не доходил до меня. Я отложила книгу и, потушив камин, легла.

Какие же долгие ночи зимой! Полночь, а до рассвета еще не один раз можно успеть выспаться.

...Я абсолютно убеждена в том, что все рассказанное Лией Гургенидзе неправда. А подлинный документ, имеющий отношение к происходящему, хранится в архиве моей матери. Это письмо Шадимана Шарангия Ревазу Чапичадзе. Когда Реваз прочел его моей матери, ей стало жаль Шадимана, и она твердо обещала принять его учителем истории, когда школа перейдет в новое помещение. Она даже сказала, что уступит ему свои часы. Я хорошо помню ее слова, мол, в новой школе я поработаю самое большее месяц-два. Работать-то я очень хочу, да силы у меня уже не те. Письмо Шарангия мама оставила себе, — если кто-нибудь его прочтет, а всякое может случиться, и слухи о его содержании дойдут до Табатадзе и Какубери, это не будет хорошо ни для Чапичадзе, ни для Шарангия. С тех пор прошло полтора года, и вот теперь появился Шадиман Шарангия. Калистрат Табатадзе не принял всерьез просьбу Шарангия о том, чтобы его назначили учителем пусть даже начальных классов в какую-нибудь школу, не внял его просьбе и Константинэ Какубери. Это Реваз Чапичадзе ходатайствовал за Шадимана, это Реваз уговорил Какубери назначить Шадимана директором школы. И вот бедный Шарангия еще не приступил к работе, а его имя в деревне уже у каждого на языке. Конечно, мол, почти пять лет проработал директором «Перевала», приобрел имущество, денег у него куры не клюют. А теперь ему надоело работать в ресторане, и не просто надоело, но он вдруг посчитал постыдным, чтобы историк, литератор и философ работал в подобном месте... Задумав разбогатеть, он сбежал из школы в ресторан и хорошо нагрел там руки, а теперь ему, видите ли, захотелось слыть за честного человека. Вот он и купил место директора хемагальской школы. Почему он не захотел работать в итхвисской школе? Итхвисцы хорошо знают, что он за человек и чего от него можно ждать...

Шадиману Шарангия не известно, что его письмо к Ревазу Чапичадзе хранится в архиве моей матери, что это письмо я читала уже не меньше трех раз, а то он по-другому бы встретил меня. Сейчас в школе дисциплина совсем распалась, не только ученики, но и учителя пропускают занятия. Да вот взять хотя бы меня. Я уже пять месяцев не хожу в школу, и все-таки числюсь учительницей. Ученики не только девятых и десятых, но и младших классов курят, ругаются... Да, в школе создалась нездоровая, тяжелая обстановка, и поэтому наша завтрашняя встреча и разговор... Я попыталась представить себе внешность Шарангия. Коль скоро он уже двадцать лет работает в ресторанах и столовых, то, наверное, сильно растолстел. Это же общая болезнь наших работников общественного питания. Лицо румяное, маленькие красные заплывшие глазки, крупные руки с короткими толстыми пальцами, закрученные вверх усы.

Таким нарисовала я себе портрет Шадимана Шарангия. Может быть, на самом деле он совсем другой, но до завтрашнего дня он останется для меня именно таким, ничего не поделаешь.

Перевод Татьяны СОКОЛОВОЙ-РУХАДЗЕ

*Окончание следует*



# ПАМЯТНИКИ ЗЕМЛИ НЕ ОБРЕМЕНЯЮТ

РОМАН

Так-то.

Писем он не перечитывал — боялся, вдруг не понравится, а снова писать, чувствовал, не смог бы. Сложил он исписанные листки в два треугольника, надписал адреса и вручил старшине.

Ответа на те письма ему не привелось получить — совсем скоро его отправили на двухмесячные курсы десантников. И в одну из августовских ночей десантный отряд из одиннадцати человек, в котором был Гига Вардосанидзе, высадился в болотистых лесах Белоруссии, в тылу врага. Из одиннадцати остались в живых пятеро, — шестеро погибли, видно, при высадке. Не зная ничего о судьбе товарищей, эти пятеро около недели ожидали тех, которые уже никуда не могли прийти. К счастью, среди уцелевших оказался радист, который сумел наладить связь с Большой землей, сообщил о высадке, уточнил задание. Спустя неделю они встретились с партизанами.

...Я откладываю перо в сторону и слушаю тебя, хотя заранее знаю, что ты скажешь.

**Ты:** Я тебе не советую описывать партизанские бои. О белорусских партизанах ты писал уж довольно много, мы знаем, что и сам ты участвовал в этом движении, думаю, не следует повторяться.

**Я:** Спасибо, ты действительно хороший советчик и помощник. Кажется, тебе и то не нравится, что я завел Гигу Вардосанидзе в лесные чащи...

Если бы я тебе не доверял, если бы не чувствовал необходимости твоих советов, не стремился бы иметь друга в твоём лице, я бы не сблизился с тобой, писал бы эту книгу сам, может, тоже получилось бы неплохо. Но...

...Нет, не зовут меня глухие лесные тропы, не манят ни коварные трясины и болота, ни партизанские костры, ни раскинутые в укромных уголках палатки — наши «крепости». Не тянет меня заглянуть в лесные «лазареты», напоминавшие лазарет только стонами раненых...

...Не хочу, скрестив руки, стоять перед братскими могилами, размышляя о великом зле и его цветах...

Не хочу заниматься обличением полицаев — и без меня все узнали о делах этих выродков.

Но война есть война, и стоны миллионов не стихнут в столетиях — это ты знаешь. И я не могу забыть все пережитое в те суровые годы, я не в силах умерить боль, унять скорбь, и что бы я ни писал, о сегодняшнем ли дне или о событиях того далека, я всегда думаю о судьбе погибших в ту войну. Так что, ты уж меня прости, я все же возвращаюсь к тем дням и ночам... К людям, о которых осталась лишь только память... и о которых не сохранилось даже памяти...

Я постараюсь не наскучить тебе своим повествованием, чтобы не наскучить читателям, потому что ведь ты — их поверенный.

Продолжение. Начало в № 2.

Итак, обратимся к Гиге! Как он стал партизаном, сначала с трудом привыкая к новой для него жизни, почему отпустил бороду, которую хранил по сей день, а главное — как писалась его воинская биография, за что получил он боевые ордена, которые он теперь не носит, а бережно, благоговейно хранит втайне ото всех.

**В** ПАРТИЗАНСКОЙ бригаде, куда попал Гига, было восемь отрядов, из командиров двое были его ровесниками, остальные уже пожилые мужчины. Пожилые носили бороду, потому что она их украшала, а молодые, подражая им, тоже отпускали бороду, вроде бы для солидности.

Командир первого отряда Гига Вардосанидзе расчесывал на косо пробор густые черные волосы. Черная, кудрявая, как у цыгана, бородка придавала еще более мужественное выражение его смуглому горбоносому лицу. За эту бородку, за черноту быстрых блестящих глаз прозвали его «Черным».

Отряд Черного бесстрашно входил в оккупированные деревни и чинил там справедливый суд и расправу над полицаями и предателями. Засады на дорогах, взрывы мостов, переправ, эшелонов — все это было делом ребят Черного, которого за мужество и отвагу уважали безгранично. Он был настоящим рыцарем, этот Черный. Да, да, не удивляйся, что я употребил это слово. Разве их нет больше, рыцарей? Или они ушли вместе со старинными романами? Или в двадцатом веке рыцари не рождаются, что ли? Может, скажешь, они не нужны нашему веку? Отнюдь! Нужны, необходимы! И, к счастью, рыцари есть и будут всегда. А сколько их было лишь в эту войну! В самых страшных испытаниях не роняли они своего достоинства. Не дрогнув, встречали смерть, гордо всходили на виселицы, молчали в застенках гестапо, выдерживая пытки, перед которыми меркнут все дьявольские порождения средневековой инквизиции. И — никогда не измывались они над поверженным врагом.

...Итак, друг мой, мы, кажется, вышли в открытое море. Оно пока еще тихое, чуть колышется и поблескивает в солнечных лучах. Мы с тобой — в рыбачьей лодчонке. И оба знаем, что покой зыбких вод недолог, что маленькие, чуть заметные волны будут расти, набирать высоту и силу, запляшут и вдруг вздыбятся и понесутся вскачь, налетая друг на друга, схлестываясь косматыми белыми гривами...

Мы с тобой должны крепко держаться за руки. Пусть волнуется, пусть бушует море, пусть мы уйдем далеко-далеко в его просторы — мы не собьемся с пути... Мы выгребем на нашей лодчонке к берегу, мы причалим, ступим на твердую землю и будем отдыхать, усталые, измученные, но довольные, в тени высокой пальмы.

...А теперь давай-ка посмотрим, что поделявает наша лисичка, наша Тасо, заглянем и в дом Гиги Вардосанидзе, да и вообще окинем взглядом те края, где родились и росли наши герои.

Итак, Тасо!..

Возвращаясь из института домой, Тасо, задумавшись, шла, чуть склонив голову, по сельским улочкам. Нет, не Гига был главной ее заботой. Каждое утро слушала она сводки Совинформбюро, в которых сообщалось, что наши войска оставили такой-то населенный пункт, такой-то город, и постепенно их становилось все больше, этих оставленных городов, и, наконец, гитлеровские войска подступили к самой Москве. Тасо была совершенно потрясена всем происходящим. «Неужели они возьмут Москву! — с ужасом думала она. — Тогда все рухнет, все погибнет!.. Неужели такое возможно?!»

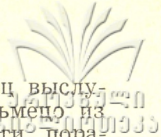
Однажды она поделилась с подругами своими переживаниями. Подруги накинулись на нее, что, мол, за чужь ты несешь, чуть не насмех ее подняли. Вспомни историю, — сказали ей, — Наполеон не только подошел к Москве, он взял Москву, а зато потом что с ним стало? Едва ноги унес с остатками своей армии.

Но сегодняшняя Москва — совсем другое дело, — подумала Тасо. Сдать Москву сегодня — немисливо. Сегодня на Москву смотрит весь мир!

Нет, история не помогла — Тасо просто замолчала, но не успокоилась. Помогла действительность: Москву отстояли, враг отступил. И Тасо воспряла духом. Она выстаивала длинные очереди у газетного киоска, с замиранием сердца сидела возле репродуктора, и все более крепла в ней уверенность: победим! Москва не сдалась, значит, выстоим, значит, победим!

А Гига... О Гиге она думала все это время, конечно, думала, но как бы сквозь завесу какую-то. И только когда судьба Москвы решилась, Тасо стала волноваться за него.

И пришло письмо — первое его письмо. Она глазам не поверила. От радости ноги подкосились. Жив! Невредим!.. Только сейчас осознала Тасо, как мучила ее тревога за Гигу.



Она прочла письмо раз, другой, вслух читала его родителям. Отец выслушал со вниманием, потом, словно не доверяя ей, взял солдатское письмо из рук дочери, прочел сам и сказал погody: «Сбегай, дочка, к матери Гиги, пора-дай ее доброй вестью».

— Да, да, Тасико, сбегай, почитай ей письмо, да и от нас поклон передай, — подхватила мать, испытующе глянув на Тасо.

— Сейчас побегу! — с охотой отозвалась та.

Она быстро шла по улице. Однако, по мере приближения к дому Вардосанидзе, шаг ее замедлялся, а подойдя к калитке, она долго стояла, не решаясь ее открыть.

Тасо знала этот дом, и двор этот зеленый с огромным ореховым деревом... Однажды, — было это воскресным днем, — собралась целая компания ребят и девушек на экскурсию в горы. Ехали они до какого-то пункта на грузовике, и Гига, когда они приблизились к его дому, сказал Тасо: «Вон, видишь, большой орех во дворе? Это и есть наш дом».

И вот стояла Тасо перед калиткой, робея и волнуясь, и ждала, не покажется ли кто. Запустелой выглядела усадьба. Траву во дворе, видно, давно не косили — высоко она поднялась. Плетень местами разобран... Тасо знала, что у Гиги есть и мать, и отец, почему же все так запущено? Ее охватила глухая тревога. Будто не все ладно в этом доме...

Наконец она открыла калитку, вошла...

Поднимаясь по лесенке, она заметила, что ступени заросли травой. Она постучалась в дверь. Дверь тотчас отворилась, и на порог вышла женщина средних лет.

— Здравствуйте, — сказала Тасо. — Я принесла вам хорошие вести о Гиге.

Тасо была уверена, что эта женщина, его мать, вскрикнув от радости, заключит ее в объятия и разрыдается, но ничего подобного не произошло. Мать Гиги выслушала спокойно, правда, с улыбкой. И все же у Тасо мелькнула мысль — а может, она попала в чужой дом?

— Входи, милая, — проговорила мать Гиги.

Тасо вошла и огляделась. Это была большая просторная комната, в ней стояли две бамбуковые кровати, деревянная тахта и длинный четырехугольный стол.

— Садись, дочка, — пригласила хозяйка, указывая на тахту, и села сама.

Тасо, присев на краешек, протянула ей письмо. Лицо хозяйки осветилось радостной улыбкой, она взяла письмо дрожащей рукой, осмотрела его со всех сторон и вернула Тасо.

— Вчера и я получила письмо, — проговорила она и, поднявшись, подошла к Тасо, обняла ее за плечи.

Тасо от радости и охватившей ее нежности к этой женщине совсем оробела.

Долго просидела Тасо в этом доме, внимательно слушая все, что говорила мать Гиги. Прочла ей Тасо и свое письмо, оно было дружеское, ничего в нем такого не было, а все равно материнское ухо и материнский глаз слышит и видит то, чего другой ввек не заметит. Узнала Тасо, что хозяин тоже на фронт ушел. «Жизнь моя теперь — одни тревоги да страхи, ну да что поделаешь, все так живут, война!..» — сдержанно сказала мать Гиги.

Когда Тасо уходила, хозяйка проводила ее до калитки, извинилась, что ничем не смогла попотчевать дорогую гостью, и просила не забывать, заходить хоть изредка. «А если от Гиги весточка придет, ты уж не поленись, дочка, забеги да прочти мне, что мой сын напишет».

А у Тасо сердце сжалось — такой незащитной, несчастной показалась ей эта еще не старая и, должно быть, крепкая женщина, стоявшая возле полуразоренного плетня в заросшем травой, заброшенном, одиноком дворе. «Я буду часто приходить. — подумала она с жаром. — Буду приходить... и дров принесу — у нас-то есть дрова, а здесь что-то не видать, и вон плетень в каком виде, наверно, весь дровяной запас вышел и она за плетень принялась...»

Вслух она сказала:

— Спасибо, я обязательно буду к вам заглядывать! Может, вам что понадобится, так вы скажите, я ведь недалеко отсюда живу... пожалуйста, я все сделаю с радостью...

Да только не довелось ей ничего для этой женщины сделать — жизнь Тасо круто изменилась. Но не будем забегать вперед — нам осталось совсем немного пройти до поворота.

...Гига просил ее в письме проведать старушку, что жила в доме напротив их платана. Гига писал, чтобы, — если ей взгрустнется без него, — она навестила и платан.

Тасо грустила о нем. Помнила улыбку его, голос, — голос звучал у нее в ушах... И она пошла на ту улицу. Вот он, платан! Тасо обняла руками шерша-

Сиротин

ый ствол, приникла к нему лицом. Словно живое существо, теплым было дерево. Но стояла глубокая осень, и листва платана пожухла, опала. Сиротин, одинокий был заветный платан...

Потом Тасо обернулась, посмотрела на домик старушки. Но где черное полотно на окне?.. И тихо все, ни звука не доносится из домика...

Тасо отворила дверь, не стучась. Вошла. Какой-то толстый человек с брюшком, с пьяной физиономией и кроваво-красными глазами поднялся ей навстречу.

— Входи, ангел, входи, душечка! Какая фея послала тебя сюда? — он захлюпал носом.

— Здесь жила... здесь жила старая женщина... — растерявшись, пролепетала Тасо.

— Ты, часом, не невеста ли?..

— Где она теперь?

— Ах, она... отдышала, бедняжка, успокоилась...

...Тасо долго бродила по улицам. Она шла и плакала и сама не замечала своих слез. Вот тот самый переулочек, в котором на всех домах — черные полотна...

...Внезапная мысль пронзила мозг... От смелости ее, даже, пожалуй, дерзости, у Тасо дух захватило. Но постепенно, возражая самой себе, она почувствовала, что мысль эта окрепла, утвердилась и перешла в решимость.

«Пусть даже винтовку мне не доверят, — я медсестрой буду... Немцы вот-вот подступят к Кавказу... Я должна пойти, я не могу сидеть здесь и только ждать известий. Ну и что же, если придет похоронка родителям: «ваша дочь Анастасия Бартоломеевна Перадзе героически погибла при выполнении боевого задания...» Все будут приходить, соболезновать, будут читать и перечитывать ту бумажку, будут утешать родителей, мол, не у одних вас такое горе, война, мол, крепитесь... А потом все разойдутся по своим домам. Отец совсем сохнет с горя, помрет где-нибудь под забором. Мать тоже недолго протянет... а в доме поселится какой-нибудь такой вот толстобрюхий... Вернется с фронта Гига, распахнет двери, удивленно спросит, где же хозяйева, и этот, красноглазый, ответит: «Ах, успокоились, отдышались...». А потом?..

...Может, Гига и поплачет на первых порах, да скоро отгорюет, встретит девушку, на меня похожую...

Нет, лучше не умирать! Лучше всю войну пройти и — с победой домой! А что как еще и с наградой вернуться?!

Да что я, о чем думаю, когда немцы вот-вот к Кавказу подойдут! Скорее, скорее, надо торопиться! »

Мать поникла, сжалась вся, как будто ее вдруг ударили, что ли... Не перечила. Отец помрачнел. «Эх, если бы ноги меня слушались, разве я бы здесь небо коптил!» — сказал он с горечью. Ноги у него были до того распухшие, еле ходил. Мать взвилась: «А ты пей побольше, утроба твоя ненасытная, и правда, небо коптись! Да ты сообрази, бурдюк ты, дочь-то на фронт идет, под пули-и! Ой-ой-ой, горе мое горькое, будь проклята эта война, да чтоб ему ноги протянуть, Гитлеру, да чтоб ему сказаться, извергу...» Втайне мать надеялась — авось, раздумает Тасо, либо отговорит кто... И ей сказала — несмело, правда, робко: «Ну, ты уж сама смотри, может, не надо, а?..»

Нет, не раздумала, нет, не отговорили, напротив — все одобрили ее решение. И мать начала ее собирать. Собирала и плакала, слезами обливалась. Подкоротила отцовский бушлат, пригнала его по фигуре, связала теплые шерстяные носки, рукавички. Вязала и все еще надеялась — «а вдруг да останется Тасико...»

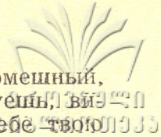
Но когда приблизился час расставания, мать вдруг как-то посуровела перед неизбежностью:

— Что ж, дочка, коли уж ты решила, ступай. Иди и не оглядывайся, в час добрый!

Бартоломэ рыдал, как дитя малое, заскорузлыми руками ласкал лицо дочери, целовал ее волосы, глаза.

— Неужто вправду уходишь, доченька?! Как ты там будешь, ласточка моя?..

Месяц спустя получили они письмо. Друг у друга из рук вырывали, читали, перечитывали, целовали... Второе письмо пришло через два почти месяца. Мать целыми днями караулила почтальона, выпрашивала его — «Может, забыл принести, может, на почте валяется, спроси!» А однажды она не выдержала — плача и кланя войну и того, кто ее затеял, она стала корить мужа, ты, мол, виноват, если бы ты, скотина этакая, был нормальным человеком, а не про-



пойцей, ты бы не допустил, чтоб моя девочка ринулась в этот ад кромешный, а ты вон валяешься с утра до ночи и с ночи до утра, в ус себе не дуешь, тебе ведь жить тебе! Ты же не можешь! Уйди, убирайся с глаз моих, пока я не разбила тебе твою дурацкую башку!

Бартоломэ, словно того и ждал, на другой же день ушел с утра и явился только к вечеру, шатаясь и еле ворочая языком. С тех пор так и повелось: Бартоломэ только отсыпался дома, и трезвым его почти не видели. А в один из ненастных осенних вечеров его привезли без чувств. Это был последний вечер его жизни.

От Тасо не было больше вестей. Мать совсем обезумела. Прошел год — она ничего не знала о дочери. Кончилась война, пришла Победа. А Тасо так и не вернулась, даже вестью не вернулась... Но мать продолжала ждать.

...А Тасо...

Медсестра Тасо, смуглая, смелая девушка, попевала всюду. Пробиралась под пулями, ловко нежными и сильными руками обрабатывала раны, выносила с поля боя раненых, умирающих спасала... Не один боец был обязан ей жизнью. Все ее любили. Но случилось так: когда медсестру ранило в грудь осколком снаряда, никого не оказалось поблизости — некому было ей помочь, ей, которая помогала стольким! Она и не звала на помощь, только зажала руками рану, пытаясь остановить кровь. Так и нашли ее с прижатыми к груди руками...

Похоронили Тасо в наспах вырытой могиле, — одной из бесконечного множества безымянных могил Великой Отечественной войны...

Гига не знал и не предполагал, что его отцу, который был уже в пожилом возрасте, тоже довелось надеть солдатскую шинель...

Как только Гиге удалось присоединиться к частям Красной Армии, он сейчас же написал домой. Получив ответное письмо от матери, он узнал и про отца, и про Тасо: «...А твоя Тасо воеет, сама, своей волей на фронт пошла...». Так и написала мать: «твоя Тасо...».

И на передовой, и в партизанах Гига встречал немало девушек с винтовкой в руках — санитарки, пулеметчицы, летчицы... да в любых частях было их много. Но сколько он ни старался, все не мог представить себе Тасо в военной гимнастерке, Тасо, вооруженную винтовкой, револьвером, Тасо с санитарной сумкой через плечо... Нет, она навсегда осталась в его памяти той чернявой, угловатой, лукавой девочкой, какой была еще до института... и после, когда они встречались под платаном: еще более похорошевшей, с необъяснимым женским очарованием в смуглом лице, в походке... Другой Тасо он не знал. Не знал и того, что никогда не увидит ее больше никакой...

Он тревожился за ее судьбу, но и приятно ему было сознавать, что Тасо, его Тасо, оказалась такой мужественной и смелой.

В Западной Белоруссии повстречался он с земляком. Разговорились, и тот сообщил ему о гибели отца, — свидетелем оказался. А в день освобождения Варшавы получил он письмо от дяди, Лаврентия Вардосанидзе. Дядя писал, что отец его геройски погиб под Смоленском, а мать вскоре после получения этого известия скончалась. «Такое горе свалилось на нашу семью, — писал дядя. — Ничего не подделаешь, любимый мой племянник, ты уж крепись».

Легко сказать — крепись!

Гига ничем не проявил перед ребятами своих чувств. Только на следующее утро никто не мог понять: то ли Гига, то ли не он... Седым стал парень.

А в первом же бою его ранило. В лазарете Гига пробыл две недели и, не дождавшись, пока выпишут, сбежал, догнал свою часть.

Кончилась война. Демобилизовавшись, Гига остался в России, осел в небольшом селе возле Смоленска. Село восстанавливали, и Гига стал работать вместе со всеми.

Работал он, рук не покладая, с увлечением. Замешивал цементный раствор, тесал бревна, клал кирпичную стену, словом, делал что придется, никакой работы не гнушался, и все у него спорилось.

Когда готовы были первые несколько изб, народ собрался во дворе сельсовета. Поздравляли друг друга, потом кто-то один с речью выступил, и другим захотелось, так что собрание в митинг превратилось.

А когда к концу дело подошло, один из стариков обратился к Гиге и так сказал:

— Ты, брат, теперь наш, мы с тобой как одна семья. Ты знаешь, бедные мы, только-только дух перевели, да никого теперь этим не удивишь и не напугаешь. Живы, слава те господи, да на своей земле свободно дышим, в нашем, значит, Советском государстве. Ну, одно слово — победили! Работы впереди много, а уж тут мы не выдадим — на работу нынче все злые, охочие. Так что



сам понимаешь... куда тебе идти, когда ты уже нашенький... Оставайся с нами часок, выбери себе избу по вкусу и живи!

Такого с Гигой еще не бывало: он слова не мог вымолвить, онемел. Стоял и слезы глотал.

Наконец, Гига овладел собой. «Спасибо... спасибо вам за любовь... Только мне ничего не нужно», — сказал он прерывающимся от волнения голосом. Сказал, что не останется, уйдет. И в самом деле уходил, да не отпустили его. Уговорили, — ну, если не отдельно поселиться, то пожалуйста, вон на околице живет одинокий старик Федор, чего тебе лучше, изба у него маленькая, да зам хватит, и ему хорошо будет — не один, значит, и тебе. На том и кончилось. Поселился Гига у Федора Малявкина.

Если бы кого на селе спросили, каких лет Гига, сказали бы, что старик он, да хорошо сохранился. А ему ведь и тридцати не было!

Вместе с Федором развели они огород, забор поставили, цветочков понасажали. В свободные часы, — а их у Гиги не мало выдавалось, — уходил он в лес, ложился на спину, закинув руки за голову, покуривал трубку свою неразлучную и думал, думал...

Федор хороший был старик, умный, невъедливый — ни с какими расспросами к Гиге не приставал, в душу не лез, да и своими рассказами не докучал. А поговорить с ним Гига любил — Федор мужик бывалый, всего навидался и горя немало нахлебался. Не обошла его стороной и война: двух сыновей проводил он на фронт, оба в землю сырую полегли, и получилось так, что из всей большой семьи остался Федор один-одинешенек доживать свой век.

Он Гигу ни о чем не спрашивал, но через какое-то время Гига сам рассказал ему о себе. Федор не стал ни утешать, ни советовать. Только вечером раздобыл где-то самогонку и выпил с Гигой за помин его отца-матери.

Как-то раз Гигу вызвали в районный центр. Целую неделю о нем Федор ничего не знал, и боязно ему было — а что, если был за ним грех, за Гигой, и утаил он его, не признался?.. Но через неделю приехал Гига. Так, будто между прочим, сказал Федору, что его, как он ни отнекивался, все же уговорили продолжить учебу в институте на заочном. Федору это по душе пришлось, похвалил он Гигу. «В добрый час, учись, у тебя еще жизнь впереди. Да и бороду сбрей...».

«Нет, — сказал Гига, — с бородой я не расстанусь».

Жизнь шла своим чередом. Село хорошело, росло, Гига работал и учился. Федор полагал, что Гига уже не покинет эти края, все ждал, что он женится, найдет свое счастье.

Гига получил диплом инженера, получил предложение работать в районном центре, на хорошем месте, но отказался — в селе, мол, останусь.

Так и жили два друга — согбенный годами и невзгодами старик Федор Малявкин и еще полный сил, но неулыбчивый, угрюмый Гига Вардосанидзе. Разница в годах не мешала их дружбе. А стороннему взгляду и не заметна была она, эта разница. «Вон, идут наши старики», — говаривали крестьяне, завидев их издали.

Прошло еще несколько лет, и Федор тяжело заболел. Слег и не встал больше: болезнь, все пережитое, да и годы, уже преклонные, сделали свое.

Гига, как за отцом родным, смотрел за ним, привозил врачей из райцентра, лекарства всякие, но ничего не помогало.

Перед смертью Федор благословил Гигу — по какой бы дороге ты ни пошел, пусть она будет для тебя доброй и верной, — сказал он.

Не стало Федора.

Хоронил его Гига со всеми почестями.

После смерти Федора Гиге невмоготу было оставаться в тех краях. Он тепло простился со всеми соседями, простился и с руководством района и отправился в дальний путь.

...Поезд прибыл ночью. Гига долго расхаживал по безлюдному перрону, размышляя, ехать ли в село сейчас же или дожидаться рассвета и тогда уж отправиться.

Стояла ранняя весна. Весна хлопотала, отстраивала свои хоромы, прогоняя заморозки, слякоть, хмарь... И хотя эта ночь была еще не по-вешнему холодна, небо сверкало звездами, небо радовало ясностью и чистотой.

Гига был одет легко. Модный пиджак, смахивавший покроем на куртку и льюко сидевший на его плечистой стройной фигуре, грубые ботинки на толстой подошве, перевешенная через плечо дорожная сумка и борода придавали его облику что-то от иностранного туриста. Дежурный по станции, расхаживавший

по перрону, несколько раз с любопытством его оглядывал, потом, не выдержав, заговорил:

— Поезда не будет до утра, вы войдите в здание, холодно. — И испытующе уставился на Гигу, думая, что тот, возможно, и вовсе не понял его ломаного русского языка. И вдруг услышал в ответ на чистейшем грузинском: «Спасибо, не беспокойтесь». Дежурный вытаращил глаза. А Гига спросил, в свою очередь, дежурного, сколько километров до села. Спросил просто так, из вежливости, чтобы поддержать разговор, потому что наизусть знал и в жизни не забыл бы, сколько их было, этих километров.

Потом он простился с дежурным и ушел.

Сперва он хотел было зайти в институт, но передумал и свернул на дорогу, ведущую в родное село, дорогу длиной в двадцать километров.

Он шел быстрым, но размеренным шагом. Время от времени, не останавливаясь, он перевешивал с плеча на плечо свою сумку. Шел, покуривая сигарету, и мысленно разговаривал то с Тасо, то с отцом своим, то целовал полные слез глаза матери.

Шел Гига, а за ним следовал рой теней и призраков, и, погруженный во все это, он не чувствовал усталости.

Совсем рассвело, когда он вошел в село.

По-разному пробуждаются, по-разному встречают рассвет города и села. В больших городах первыми выбегают ему навстречу трамваи, троллейбусы... Начинается рев моторов... Потом — дробь каблучков пешеходов... И уже все охватывает напряженный ритм, ритм большого города.

Иначе наступает утро в селе. Может, и раньше горожан поднимаются жители села, может, и раньше, чем в городских домах, открываются окна в сельских домах, раньше, чем в городе, начинают скрипеть калитки и на зеленую травку выбегают куры, со звонким лаем носятся собаки, но все это — домашний шум, а на улицах села еще тишина и покой, улицы объаты предутренней дремотой.

Зато в село раньше, чем в город, вбегает вестник солнца и света — чистый горный ветерок. Он носится по улицам, переулкам, усадьбам, пробуждая и бодря людей. А вдогонку за ним спешат солнечные лучи, и тут уж начинается день, обычный сельский день.

Когда Гига вошел в село, и ветерок, и первые солнечные лучи уже закончили свой обход. Село проснулось.

Гига подошел к своей усадьбе и остановился пораженный. Усадьба была ухоженная, опрятная, ничем не походила на заброшенную. Он не ожидал этого. Калитка вдруг открылась, Лаврентий Вардосанидзе придержал ее, посторонился, уступая дорогу жене.

Хозяйка усадьбы в замешательстве оглядывала бородатого гостя, даже не здороваясь от удивления, только переводила взгляд с гостя на мужа и с мужа на гостя.

— Гига я, Гига, слышишь!

— Ой! — вскрикнула тетушка и обеими рукамихватила себя по щекам. Черт его разберет, радостью был вызван этот вскрик и это хлопанье или страхом перед воскресшим из мертвых племянником. Племянником, который давно помер где-то, в полях огромной далекой России, и все, что принадлежало ему — и дом этот, и двор просторный, обжитый, — все-все давно уже стало ее, Нади Вардосанидзе, достоянием, собственностью.

«Ой!..» Радость ли была в этом «ой», испуг ли, нарочно ли она хлопнула себя по щекам, — чтобы они покраснелись, как от радости, — или просто от неожиданности — это уже не имело никакого значения для Гиги.

Он смотрел на ближайших своих родственников, дядю и тетю, он созерцал их испуганные лица и фальшивые улыбки и сожалел о возвращении. Ошибкой было это возвращение. Хотя...

Кроме дядюшки Лаврентия Вардосанидзе, родного брата его отца, и жены дяди — Надежды в селе было еще столько людей!

И все-таки первая встреча, первое слово были главными, решающими... Вы входите в учреждение — пусть очень солидное, — и прежде чем попасть к руководителю, встречаетесь с кем-то, скажем, с личным секретарем, с заведующим отделом, с рядовым работником, и их обращение, их поведение определяет так многое...

Бывают исключения, но редко.

А если первым встречным оказывается родной дядя, и этот дядя встречает тебя как незваного и нежеланного гостя — надо уходить. Повернись и уходи прочь отсюда.

перь бедняга Раждэн», некоторые хихикали в платочек, некоторые открыто, а иные заявляли во всеуслышание: «Что ж, уважаемому Раждэну есть над чем поразмыслить».

Люди, в районе не очень известные, не очень именитые, звонили другу по телефону и обсуждали новость, осторожно пошучивая, словно боясь, как бы кто не продал их Раждэну Бодокиа.

Одним словом, это событие занимало все местное общество. На улицах, в домах, в магазинах, на рынке только об этом и говорили.

В небольшом, но уютном и тенистом сквере, что напротив административного здания, под старой развесистой липой сидели на зеленой скамеечке двое — старый большевик Силован Русадзе и его неразлучный друг Тэофиле Морчадзе.

Силован по сравнению с Тэофиле выглядел много бодрее и моложе, несмотря на то, что ходил, опираясь на трость, и все время глухо покашливал. Зимой и летом он носил шляпу. Пальто его не отличалось особо модными линиями, но сравнительно новый костюм выглядел неплохо, а на жилетке красовалась золотая цепочка от часов. Силован был старше Тэофиле. В последние годы, пенсионные годы, стал он скрытным и ворчливым, все было не так, не по нем, и его серые глаза замечали вокруг скорее плохое, чем хорошее, потому он постоянно хмурился.

Тэофиле Морчадзе был человеком совершенно иного склада и, конечно, иного облика. С первого же взгляда было видно, что он сломлен тяжелой жизнью. Но кого бы вы ни спросили, каждый сказал бы, что Тэофиле человек тихий, добрый, благожелательный. Действительно, от него вы никогда бы не услышали ни о ком ничего худого.

Обыкновенно оба друга долгие часы проводили в сквере, на скамеечке под липой, наслаждаясь утренним солнышком, не тяготясь молчанием, если говорить было не о чем, и охотно обсуждая все животрепещущие события жизни городка. Молча сидели они и в то знаменательное утро до тех пор, пока Силован не приметил направлявшегося к ним Габриэла Чхиквадзе. Габриэл шел такой торопливой походкой, так размахивал руками, что сомнений не оставалось: он спешит сообщить какую-то интересную новость.

Габриэл был очень высокий и очень худой мужчина лет шестидесяти, но выглядел намного моложе. Всегда подтянутый, еще по-молодому стройный и осанистый, всегда без шапки, остаток волос на облысевшей голове элегантно зачесан на одну сторону. Костюм его, правда, несколько неопределенного цвета от солнца и времени, сидел на нем ловко, и вообще вид у Габриэла был спортивный.

Вот и сейчас шел он хоть и торопливо, но легкой поступью, с каким-то даже изяществом. Под костюмом — белоснежная сорочка с красивым галстуком, черные туфли начищены до блеска.

Наконец он приблизился к скамейке под липой и выложил друзьям сногшибательную новость: убита овчарка, любимая овчарка Раждэна Бодокиа!

Габриэл вот уже второй год был, так сказать, членом общества «пензионерской скамьи» сквера. Новый образ жизни его не особенно печалил — «хватит с меня, пусть теперь молодые щелкают на счетах и разбирают темные дела дебета-кредита», — посмеиваясь, говорил он.

Ранним утром Габриэл выходил из дому, первым являлся к газетному киоску в сквере и ждал его открытия. Затем, купив все интересующие его газеты — а их было немало, — усаживался на скамью под липой и дожидался прихода остальных членов «общества».

Сегодня он сильно запоздал, но, как видите, на то были причины экстраординарные.

Едва лишь весть об убийстве вышла за бодокиевскую калитку, соседи тотчас подхватили ее и сообщили Габриэду. Но Габриэл не успокоился, не узнав всех подробностей дела и — имени убийцы!

Габриэл был человек прямой и всегда всем тыкал правду в глаза. На собраниях выступал тоже не стесняясь, не боясь и начальников покритиковать. Эта не всем приятная черта его характера ускорила уход Габриэла на пенсию. Тэофиле говорил о нем: «У нашего Габриэла такой язык! Шуточки-прибауточки, хи-хи да ха-ха, ан, гляди, человека с землей сравниет!»

Габриэл приблизился к скамье и, остановившись в нескольких шагах, поздоровался. «Привет, ребята, — сказал он. — Вы, верно, не знаете...» И рассказал про убийство бодокиевской овчарки так образно, так живописно, словно это была история убийства генерала Гагарина князем Дадештелиани.

— Трудно поверить! — сказал Силован.

— Не верь, воля твоя! Собаке, бедняжке, горло перерезали, весь город на ногах, а вы сидите и знать ничего не знаете!

302 000000

— Погубили человека, а! — с усмешкой проговорил Тэофиле, имея в виду Раждэна.

— Ладно, будет вам о собаке скорбеть, подвиньтесь и дайте мне сесть, я тоже хочу на солнышко полюбоваться, — ворчливо сказал Габриэл.

Усевшись, он вытянул свои длинные ноги, поглядел, в какой стороне небеса светит солнце, затем потребовал сигареты.

Тэофиле предложил ему «Приму». Выяснив, какой фабрики эта «Прима», он извлек из пачки сигарету, потребовал спички, вставил сигарету в самшитовый мундштук, зажег ее и затянулся.

— Невероятная история! — несколько индифферентным тоном проговорил Силован.

— Пойди и посмотри сам, она и сейчас на улице валяется.

— Каким образом, как?! К этой овчарке с винтовой нельзя было подступиться... как же это?.. — недоумевал Тэофиле Морчадзе.

— А где находился в это время товарищ Раждэн? — полюбопытствовал Силован.

— Вероятно, в кабинете, — с готовностью ответил Габриэл. — Вероятно, обсуждал на совещании насущные проблемы. Совещания ведь его конек.

Собаку, оказывается, прогуливала домработница Бодокиа, которую он упорно называет родственницей.

— Ты смотри, а!

— А как же! Должностное лицо-то в рабочие часы не может бегать за хвостом своей собаки! — с тонкой улыбкой разъяснял Габриэл. — Ладно, вы мне голову заморочили с этой собакой!

Некоторое время длилось молчанье, каждый осмысливал происшедшее. — Да, но почему никто из вас не интересуется, кто посмел поднять руку на собаку Бодокиа, а? — с вызовом проговорил вдруг Габриэл.

— Гм... Ты ведь сказал, что мы тебе голову заморочили, — парировал Силован.

— Да не томи душу, расскажи все толком, наконец! — Тэофиле закурил и устроился поудобнее, предвкушая удовольствие.

Габриэл принял загадочный вид и долго молчал, усмехаясь и часто мигая живыми лукавыми глазами.

— Да открой, наконец, рот и говори, не то ведь и мы кой-чего знаем, не зря тут целыми днями сидим. Верно я говорю, Силован?

— Верно! — с готовностью подтвердил Русадзе.

— Знаю я вас, как свои пять пальцев, знаю! — со смешком проговорил бывший бухгалтер и, вытянув руку, потряс пятерней чуть не перед самым носом Силована.

— Убери свою костлявую руку! — стукнув тростью, вскричал тот.

— Подумайте, как он обнаглел, а?! Не хочешь говорить, и не надо, и шут с вами вообще, можете хоронить вашу собаку в дубовом гробу во-он там, видишь, церковь на горе? Оч-чень мне надо!

Габриэл не удосужился ответить, он в самом деле отлично знал своих друзей. Знал, что выдержки у них хватит самое большее на десять минут, помолчат, и снова начнут приставать — расскажи да расскажи, скажи да объясни.

Да и он был таким же, как они, ничем от них не отличался, потому и Тэофиле, тоже отлично его зная, намекнул на какие-то секреты — знал, что Габриэл попадет на эту удочку.

Габриэл задумался: что же произошло в городке такое, что ускользнуло от его всевидящих глаз и всеслышащих ушей? Может, стоит сейчас протянуть руку и постучать пальцем по плечу Силована? Думаете, придется его просить, уговаривать? Да как бы не так! «Ах ты, паскудный ты старикашка, — скажет для начала Силован, — и когда ты ума наберешься, тебе и времени-то не остается, не одной, а обеими ногами в могиле стоишь, кого из нас раньше господь приберет, одному ему известно!»

Но Габриэл все же удержался от соблазна, прикусил язык и стал ждать. В конце концов, положение не так уж скверно: не исключено, что таким манером он выманит у Силована приличную сигарету. Силован всегда курит хорошие сигареты, сыновья его снабжают, однако угощать ими кого-нибудь для него хуже смерти. Но сейчас он, возможно, и расщедрится, пойдет на жертву...

— Сигарету! — повелительно, тоном, не терпящим возражения, произнес

Габриэл. Тэофиле поспешно поднес ему «Приму».

— Это ты себе побереги!

Силован помялся, с огромной неохотой вытащил из кармана пачку «Грузии», протянул Габриэлу, буркнув — «на, подавись».

Габриэл развалился на скамье, откинувшись на спинку, закурил, зата- нулся.

- Дай бог тебе здоровья! — сказал он в ответ на силованово «подавись».
- Кончай паясничать, — рассердился Силован.
- Не кричи, не отравляй удовольствия, из тебя ведь ни за что вторую сигарету не выбьешь.

Мимо со смехом и щебетом пронеслась веселая стайка девушек, но кто на них глянул!

— В нашем городке объявился бывший партизан. Он перебил добрую сотню фашистов.

— Имей совесть, чуточку уменьши количество убитых, — заметил Тэофиле.

— За что купил, за то и продаю, мне-то все равно, двадцать он убил или сто!

— Ну, дальше? — Силован закурил сам и сейчас же спрятал пачку в карман. Тэофиле громко вздохнул, жалобным взглядом проследил за пачкой, но Силован ничего этого не хотел видеть. Он затаился глубоко, а это означало, что Силован Русадзе уже проявляет интерес к личности бывшего партизана.

— Побывал он и в лагере военнопленных, и в руках гестапо, и овчарки его драли, и эсэсовцы. Словом, бедняга прошел все круги ада.

— Почему «бедняга»?

— Да я просто так сказал, дорогой мой Силован, он-то как раз не бедняга, он герой, вот он кто!

— Точно.

— Так вот, и теперь этот человек выслеживает всех овчарок в городке и убивает их. Хочет уничтожить эту породу собак, понимаешь?

— М-да... видать, не все у него в голове ладно. Разве собака виновата... как у него рука поднимается на бедную животину, — с сожалением проговорил Тэофиле.

— Срам да и только, — стукнув тростью, заключил Силован.

— Вы что, книг не читаете, в кино не видали, как гестаповцы с этими овчарками на людей охотились? Ведь они их на пленных натравляли, науськивали... Как только у вас язык поворачивается худое говорить о человеке, побывавшем в гестаповских лагерях?! Нет, мой дорогой Силован, хочешь обижайся на меня, хочешь нет, а я тебе скажу — холодное у тебя сердце. Как ты считаешь, Тэофиле?

Тэофиле заерзал, не зная, как быть: поддержать Габриэла — Силован обидится и будет его чорить, не поддержать — Габриэл тоже в позу станет. Ни то, ни другое его не устраивало, но он должен был как-то реагировать.

— Да что ты все трясешься, все жмешься! — накричал на него Габриэл. — Конечно, каменное сердце у него! Своим детям житья не дает, копейки в их карманах считает...

— Габриэл! — голос Силована прозвучал предупреждающе.

— Да, да, шестьдесят пятый год зовут меня Габриэлом, одним я нравлюсь, другие терпеть меня не могут, а третьи, вроде Тэофиле, думают: «что ж, наш Габриэл неплохой человек, скорее положительный, чем отрицательный», а как до дела дойдет, отступятся от меня, мою правду не поддержат и будут ожидать, как меня на дереве повесят. Только не дождутся они этого, нет! Чего ты на меня уставился, ну да, Габриэл я, Чхиквадзе! И не перечьте мне, сегодня у меня сердце болит, чего доброго, у вас на руках богу душу отдам. Слушай, Силован, перестань наконец хмуриться! Тридцать лет я тебя знаю и ни разу не помню тебя веселым, смеющимся по-настоящему, от души. Улыбнись хотя бы и не так зла, заклиная тебя памятью твоей жены! Гляди, гляди, как я Тэофиле озадачил! Ха-ха!.. Ладно, вернемся теперь к этому партизану. Фамилия его Жоржоладзе.

— Так он из наших краев? — оживился Тэофиле и кинул взгляд на Силована — все сердится или уже нет? У Силована погасла сигарета, Тэофиле чиркнул спичкой, поднес ему огонька.

— Из наших краев, конечно! Неужто Лазарэ Жоржоладзе не помнишь? Он сын Лазарэ, — погода ответил Габриэл.

— А уважаемый Раждэн нынче, верно, сильно не в духах, а? Что скажешь, Силован? — Тэофиле робко подтолкнул Силована.

Тот шумно вздохнул.

Тэофиле продолжал:

— Да уж, верно, рвет и мечет. Оно и понятно.

— Эх, Тэофиле, не знаешь ты Раждэна Бодокиа!

— Знать-то я его, правда, не знаю, но видеть не однажды видел. И думаю, что этот ваш Жоржоладзе неправ. Пусть даже он решил уничтожить всех овча-

рок в городе, но овчарку первого человека города он не должен трогать. Поэтому что разозлится наш хозяин, и все на нас отзовется.

— Куда же больше, милый человек! Уже это звалось! — сощурился Силован зал Чхиквадзе.

— Недостатки у нас еще есть, — проговорил Силован.

— А ты на собрании это скажи, — поддел его Габриэл.

— Не зовут уж меня.

— Э-э, Силован, не к лицу это тебе. Кто каждый раз торчит в президиуме? Ты. Кто на собрании разваливается в кресле? Ты. Кто стоит на почетном месте на трибуне во время парада? Ты...

— Что ты от него хочешь, он себе сидит, как голубок, — усмехнулся Тэофиле.

— Ах, и ты ему подпеваешь? Значит, и тебе он голову заморочил? Стоит ли после этого с вами разговаривать? — Габриэл сделал попытку встать, но его схватили за руки, усадили.

— Чего ты ерешнишься, ну, пошутил человек, ну, сказал что-то не то, нельзя же все так близко к сердцу принимать! Побереги сердце, побереги, — Силован, расчувствовавшись, обнял Габриэла.

Все трое молчали. Один смогрел на небосвод, другой изучал верхушку липы, третий глядел куда-то в пространство.

Габриэл подмигнул Тэофиле и обратился к Силовану:

— Революцию ты совершил, Силован, верно?

— Опять начинаешь?!

— Да я что, это ты начинал. И боролся на славу...

— Не болтай, Габриэл!

— Что ты называешь болтовней, правду? Вот наш Тэофиле, который защищает Бодокиа...

— Кто его защищает? Кто?!

— Разве ты не говорил, что из-за убийства собаки человек расстроится... А верно это? Раждэн Бодокиа такой человек, что не только собаку, но даже если дом его спалят, он и бровью не поведет. Ты-то ведь с ним — чашка-ложка, Силован?

— Как же, как же! — Силован взмахнул тростью.

— Да ведь в президиуме вы всегда рядышком сидите! Так вот, если свет перевернется, Бодокиа не заметит, не спросит, что, мол, случилось, а из-за собаки он будет переживать? Бог с вами! Я вам еще что скажу: у него в кармане есть такой аппарат — шагомер, что ни час он на этот аппарат поглядывает — не переутомил ли себя, не перегружает ли сердце...

— А ты это откуда знаешь?

— А я, дорогой мой, еще и другое знаю! Недавно пошел я на стадион, мои внуки там мяч гоняют, хотел я на них поглядеть.

— И что же?

— Здорово они играют, скажу я тебе!

— Ну, считай, повезло тебе, будут они колесить по миру, да тебе всякую всячину привозить.

— Это я и подумал! Поэтому на следующее утро я их ни свет ни заря поднял с постелей и погнал на стадион, и сам следом пошел. Прихожу, значит, и — что бы вы думали, кого я там встретил? Раждэна Бодокиа! Да, Раждэн Бодокиа в майке и трусах бегал вокруг поля!

— Что ты говоришь?! Тоже в футбол играл? — воскликнул Тэофиле, звучно хлопнув себя по колену, а Силован выпучил глаза от удивления.

— Нет, бегал вокруг поля, — чуть не по слогам повторил Габриэл.

— Чего это ради?

— Тре-ни-ро-вался! Врач ему велел, встаньте, мол, утром пораньше, бегайте на чистом воздухе и будете жить долго.

— Ну, это он ему верно сказал.

— Так вот. Кончил он бегать и уселся рядом со мной.

— Простой он, оказывается, человек...

— Да. И беседу повел.

— Знаком он, значит, с тобой?

— Да нет. Таких, как я, старичков, готовых к путешествию к праотцам, немало по городку шатается, верно ведь, Тэофиле?

— Да, не мало. — вздохнул тот, — вот только тут нас уже двое.

— Ну, так кому до нас дело!

— Ты сказал, что он с тобой стал беседовать.

— Ага. Понадобился я ему, кроме меня никого вокруг не было, а поговорить охота. Но я тоже не лыком шит — я сразу все понял. Он угадал, что мне что-то около семидесяти, и ему стало интересно, как это я умудрился так хоро-

шо сохраниться. Я говорю — день и ночь тружусь, и все на ногах, и все кручусь и верчусь, и все бегая, столько пота проливаю, сколько целый батальон не прольет, потому, мол, я как огурчик свеж.

Он спокойно кивнул, похвалил меня, молодец, говорит, так и надо, честный человек всю свою жизнь должен трудиться на благо обществу, гореть ради общего дела должен и подавать пример остальным. Я, говорит, поседел в трудах и заботах о людях. Городок-то наш маленький, но не век же нам в провинциалах ходить, население должно приобщаться к культуре, а это зависит от нас, руководителей, от нашей деловой хватки. И в таком духе, в таком роде, и так он это все преподносил, я чуть было не пожалел его, бедняга, думаю, вот ведь какую ношу тащит на своих плечах! Но я вовремя вспомнил мою темную конуру, вечно сухой водопроводный кран во дворе и еще разные «приятные» мелочи жизни. Ну, тут уж я его не пощадил! Как открыл рот и давай, и давай! Все выложил. Говорю, а сам думаю — разозлится он, оборвет меня, обрежет, ан нет, слушал, слушал, и потом — так спокойно, будто не его все это касается: «да, — говорит, — вы правду говорите». Вообще-то ему неприятно стало, я заметил, и потому я сделал вид, будто и не слышу этих слов. «Вы, — говорю ему, — батоно Раждэн, верно, каждое утро тут бегаете, потому так молодо выглядите?». Он заулыбался, польстило ему, что я его узнал да почтительно так к нему обращаюсь и такие слова говорю. «Ах, — говорит, — постарел я, теперь мне физкультура, как воздух, необходима, вот, говорит, поверите ли, семь раз вокруг этого огромного поля обежал». Я не удержался, подпустил-таки яду: «Лучше бы вы, батоно Раждэн, один раз городок наш обошли!» — так и сказал, и поднялся. Ну, думаю, теперь-то он мне в глотку вцепится. А он опять хоть бы хны, тоже встал, этак неторопливо, с ленцой, поклонился вежливо и ушел. Теперь, Теофиле, ты сам посуди, станет такой человек убиваться из-за собаки?

— Ох, Габриэл, болтун ты, стыда у тебя нет! Прикуси лучше язык, вот тебе мой совет! — заключил Силован и, постукивая тростью, направился к выходу.

\* \* \*

Скончался бывший партизан, участник французского Сопrotивления Порфиле Брегвадзе. Крестьянский сын Порфиле Брегвадзе пошел на фронт, как и все его соотечественники. Он сражался на передовой, сражался отважно, был тяжело ранен, попал в плен. Чудом и стараниями товарищей по лагерю выжил. Его переправляли из лагеря в лагерь, и в конце концов он очутился на территории Франции. Там он бежал, побег удался, и Порфиле присоединился к партизанам. Его воля к победе, его смелость и мужество снискали ему любовь и уважение братьев по оружию. Он стал командиром отряда. Кончилась война. Порфиле вернулся на родину с прекрасной боевой характеристикой и иностранными наградами и поселился у брата.

В один прекрасный вечер Порфиле был приглашен к приятелю. Там он познакомился с некой Верой Габуниа, врачом, очень приятной женщиной, человеком богатой души, любимой и уважаемой всеми. Знакомство это оказалось счастливым для обоих: через сравнительно недолгий срок Вера Габуниа, руки и сердца которой добывались многие, вышла замуж за Порфиле Брегвадзе.

Жили они в любви и согласии, родился у них сын, Порфиле работал, а о том, чтобы выпить — и думать забыл. Обрел человек цель в жизни, обрел мир и покой душевный. Но, увы, недолговечен он оказался, недолгим было и семейное счастье Веры Габуниа: заболел Порфиле, да так заболел, что в два дня не стало его.

На панихиду бывшего партизана пришел и Гига Вардосанидзе. Высокий, осанистый, с суровым, все еще красивым лицом, Гига привлек к себе внимание всех присутствующих, из которых очень немногие его знали. Пришел Гига и на похороны, проводил Порфиле Брегвадзе в последний путь. Возле вечного пристанища бедного Порфиле был похоронен кто-то. Могила была богатая, ограда и надгробье — из черного мрамора. Здесь стояла группа людей, и Гига присоединился к ним.

— Эх, на кладбище то же самое, что в жизни, — сказал Габриэл Чхиквадзе. — Вот этот человек весь свой век прожил в богатстве. Полуграмотный был, но хваткий, ловкий, деньги нажить умел, дом не дом — палаты царские себе отстроил, на «Волге» разъезжал, и могила его тоже вон какая...

Тут к Гиге подошли бывшие партизаны Александре Чхобадзе, Володя Джикариани, Сандро Беридзе, Акакий Цнобиладзе и Иасон Жоржолодзе, попросили его вместе с ними пойти сейчас в дом покойного Порфиле, чтобы почтить его память и пожелать здоровья и долгой жизни его вдове и сыну. Гига извинился, но отказался.



Тогда бывшие партизаны решили сами навеститься к Гиге. Они ~~приехали~~ с собой кой-какую еду, вина и направились к стоявшей на отшибе халупе Гиги в Вардосанидзе.

Гости не знали, кто такой их хозяин, что он за человек. Они ничего о нем не знали. Они, собственно говоря, за тем и пришли, чтобы выяснить это. Где он живет — они и того бы не знали, если б не Володя Джишкарини, бывший ковпаковец, разведчик. Это он после похорон Порфиле след в след шел за Гигой и, оставшись незамеченным им, обнаружил его жилище. И вот они все пришли к нему.

Гига радушно встретил гостей. К принесенной ими закуске добавил отварной картошки и немного мяса.

В тот вечер они познакомились. Узнали, что Гига тоже был партизаном, партизанил в лесах Белоруссии, был командиром отряда. Они окрестили его «Батей» и попросили разрешения заходить к нему почаще.

Через несколько дней снова наведальсь они к Бате. Снова сидели, вечеряли. Но на этот раз открыли они ему свой замысел. Говорил за всех старший по возрасту Александрэ Чхобадзе. Сказал, что они видеть не могут всех нарушителей, которые вокруг творятся, всех безобразий, и решили выступить против бесчестных людей. Попросил Гигу от имени своих товарищей стать главным, старшим.

Гига задумался. «Кем они были до войны, эти люди, — подумал он. — Чем они занимались? Александрэ Чхобадзе, верно, землю пахал, был колхозником, Циобиладзе и Берадзе, может, были рабочими или, самое большее, мастерами, и Жоржолодзе тоже. Володя Джишкарини... этот, может, был, как и я, студентом... Чему научились они на войне? Делать проходы в проволочных заграждениях, разминировать минные поля, взрывать склады врага... Убивать научились они на войне. Убивать врагов. А к чему сейчас, в мирной жизни, все то, чему научились они на войне?.. Они сражались, они страдали от ран, они попадали в плен и убегали из лагерей и снова брались за оружие, с которым простились лишь, когда кончилась война.

Но что же они задумали сейчас? Какой план действий они могли выработать?

Что оставалось у них?

Сердце, честное сердце и солдатская стойкость, и это свое достоинство они тоже отдают людям.

Как же мне поступить? Я же никто на сегодняшний день. Никому нет до меня дела, никто меня не знает, никого я не знаю, и никому здесь я не нужен. Может, лучше было мне оставаться там, под Смоленском?.. В той русской деревушке завершить дни свои?.. Да, но как же мне быть сейчас?..»

Молчание Гиги не понравилось бывшим партизанам. Они так и сказали ему: «Чего ты молчишь, о чем размышляешь, боишься, что ли?»

«Я подумаю», — ответил Гига.

На том и разошлись.

А ночью пришел к Гиге Володя Джишкарини. Гига еще не спал. Они долго сидели при коптилке, говорили.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

*Продолжение следует*





ТАМАЗ НАТРОШВИЛИ

# Пробуждение

Рассказ

САМОГО утра я был не в духе. Казалось бы, ничего особенного не случилось, просто вдруг увидел бородатого, огромного роста хевсура. Он прошел мимо меня, вертя в руке какой-то прут. Весь его облик, крепко сжатые губы и стиснутые зубы говорили о затаенной в душе боли.

— Кто это, не знаете? — спросил я у знакомых ребят.

— Да ну его. Сумасшедший он, — сказал кто-то.

— Сумасшедший? — удивленно переспросил я.

— Не то что в самом деле сумасшедший, но иногда на него находит.

— А с чего он такую бороду отрастил?

Сдерживая смех, один из ребят сказал: — Любимая ему изменила, вышла замуж за другого, вот он и скорбит.

— Нашел из-за чего с ума сходить... — добавил другой.

Я не ответил, только засмеялся вместе с ребятами. А потом вдруг после встречи с бородатым у меня испортилось настроение. Я не переставал думать о нем. Ну и что с того, что любимая вышла замуж за другого! Стоит из-за этого так убиваться! Ну а то, что он отпустил бороду, просто смешно связывать с его состоянием духа. Бороду отпускают и вовсе без причины... Мне так хотелось заступиться за незнакомца, словно он был мне родной. А ведь он действительно мог быть моим двойником. Вот так где-то далеко появится человек, как две капли воды похожий на тебя, и будет он шагать посреди улицы, гордый и безучастный ко всему. Только эти качества и отличают его от тебя. Ты бы постеснялся так пройти по улице, бросал бы взгляды по сторонам, пытаешься прочесть на лицах прохожих, не смеются ли над тобой... А он, бородач, прошел мимо архотских ребят, посмеивающихся над ним, вовсе не замечая их.

Я сидел на ступеньках здания почты, погруженный в мрачные, невеселые мысли. Вокруг все было опалено солнцем, казалось, даже воздух застыл в изнеможении, устав от жары. Люди попрятались в домах, и только за дорогой с моста прыгали в Арагви мальчишки.

Не знаю, сколько времени я сидел на ступеньках, насвистывая много раз слышанную песню об осенних листьях, которые падают с дерева, ветер кружит их в воздухе, снова бросает на землю и наконец дворник метлой сгребает их в огромную кучу.

Песня эта увлекла за собой, манила куда-то вдаль. На балконе дома напротив появилась девушка в брюках. Я уставился на нее. Может, попытаться заговорить с ней?..

А время едва плетется. Так сколько же я просидел на этих ступеньках, томясь и изнывая от зноя, не спуская глаз с девушки в брюках?



Неожиданно предо мной вырос Нугзар, как всегда веселый и жизнерадостный.

- Кого я вижу! — воскликнул он с восторгом.
  - Здравствуй, — ответил я, протягивая ему руку. Мы обнялись.
  - Гия, как поживаешь, друг?
  - Неплохо. А ты как?
  - Хуже, чем должно быть, и лучше, чем есть на самом деле, — отчеканил он свое любимое выражение.
  - Откуда ты и куда? — поинтересовался я.
  - Из Пасанаури. Переселяемся в Хевсуретию. Бросим здесь якорь и будем совершать вылазки в близлежащие села.
  - Ты не думай, что Барисахо — это вся Хевсуретия. Это только при- сказка, а сказка впереди...
  - А ты по-прежнему бродишь по своей Хевсуретии?
  - Да, по-прежнему. Хотя я и не этнограф, как ты, а все-таки люблю Хев- суретию и Сванетию.
  - Экспедиция ваша закончила свою работу?
  - Да.
  - Добились чего-нибудь?
  - Посмотрим. Сейчас главное — выяснить рентабельность. Все отправи- лись в Тбилиси.
  - А ты чего ждешь?
  - Мне захотелось еще с неделю отдохнуть. Сегодня и я уезжаю.
- Нугзар присел на камечные ступеньки.
- Каким ветром занесло сюда эту девушку в брюках? Она из Тбилиси? Я пожал плечами и сказал:
  - Не интересовался.
  - Видишь, смотрит на меня украдкой, — сказал Нугзар, подтолкнул меня и засмеялся, — выдать, я произвел на нее впечатление.

Он всегда был веселый, и беззаботный, подумал я. Он никогда не состарится. Однажды в детстве он сломал ногу и ходил на костылях. Тогда мы носили с собой в школу чернильницы. Нугзар был освобожден от этой обязанности благодаря своим костылям. Мы завидовали ему. А он вот так же безза- ботно скакал впереди нас, опираясь на костыли, худой и бледный. Ему даже нравилось, что он не похож на остальных мальчишек. Другие все были слов- но на один манер, а он, Нугзар, совсем другой.

Потом вспомнилось мне Дарьяльское ущелье. Мы сидели за голубым сто- лом под тентом, спасающим нас от солнечных лучей, рассыпанных по вер- хушкам деревьев. Горы безмолвствовали. Где-то внизу шумела река, но шум реки был настолько привычным, что казался частью тишины. Мы все не пер- ставали удивляться тому, как тихо и спокойно стоят под солнцем эти испо- линские горы. Казалось, вот-вот внезапно загудит какая-нибудь скала, рухнет и перекроет русло реки. Но вокруг по-прежнему была разлита тишина. Мы сидели за голубым столом и пили вино. Капли красного вина застывали на губах, потом исчезали — то ли солнце сушило их, то ли мы сами стирали их рукой. Васо произносил прочувствованные тосты. Высоко-высоко на вершине горы виднелась молеельня горцев. Ночью под лунной горы казались покры- тыми снегом. Вечерами мы сражались в покер, все играли в темных очках. темные очки скрывали волнение, вызванное плохой картой. «Привет покеру!» — слышали мы праздничный баритон Нугзара. И начиналась игра. Начиналась — и не видно было ей конца. Дачники гуляли в роще и на берегу реки, дышали чистым горным воздухом, потом засыпали, видели сны, а мы по-прежнему в папиросном чаду сражались в покер. На рассвете мы закруглялись, изнуренные и вовсе обалдевшие, а в полдень дачники посмеивались, глядя, как мы, только что продрвав глаза, с полотенцами на плечах шли умываться. Нугзар большую часть времени проводил на танцплощадке. Он нравился девочкам, и они гор- дились тем, что танцуют с ним. «Танцуем танго!» — громко объявлял культ- работник санатория. Скамейки вдоль стены в огромном санаторном зале в мгновение ока пустели. Танцевали все очень серьезно — словно в танце есть что-то таинственное и незнакомое. Пары то и дело задевали друг друга. В огромном зале было тесно. Нугзар танцевал, весело, беззаботно рассказывая что-то смешное партнеру. Наверное, беззаботность эта не всегда искренна, но внешне все в порядке, и веселый человек всегда приятен окружающим. Иногда я открывал для себя какого-нибудь поэта, которого, несомненно, знали другие, но для меня он был откровением. Тогда я отыскивал Нугзара, читал ему стихи и почему-то обижался, если они ему не нравились и он не разде- лял моего восторга. Обижался, словно ему не нравились мои собственные сти- хи... Мысли снова переносили меня в Тбилиси. Мы идем по Верийскому спуску. Нугзар смотрит на часы, извиняется, говорит, что его ждет жена, и садится в

троллейбус. И я воочию вижу, как завладевает жизненная закономерность душой молодого человека. Словно на знакомой с детства улице построили новый дом. Он красив, но он чужой, непривычный и как-то не вяжется с домом на тихой улице, окутанной тенью зеленых деревьев.

...Мы с Нугзаром уже вдвоем улыбаемся девушке на балконе.

— Эх, если бы я не был женат... — сказал Нугзар.

— Кстати, Лия здорова?

Нугзар кивнул головой.

— Скоро он у вас появится?

— Через три месяца.

— Ты, конечно, мечтаешь о мальчике?

— Будет мальчик, — убежденно сказал Нугзар. — Я хочу назвать его Шавлего.

— Красивое имя.

— Дома все настаивают, чтоб я назвал его в честь отца — Павле.

— Ну разве можно сравнить это имя с Шавлего!

— А моим не нравится Шавлего, — сказал с сожалением Нугзар.

— Тогда назови Важа.

— Нет, я хочу Шавлего.

— Тебе виднее. Я из любви к Важа Пшавела советую тебе. Какой поэт, а?

— Глыба!

— В Хевсуретии чувствуешь его сильнее, чем в Тбилиси.

Нугзару надоело сидеть под солнцем на раскаленных каменных ступеньках. Мы встали и укрылись в тени во дворе школы. Ее отремонтировали к началу школьных занятий, и потому все парты были вынесены и сложены во дворе. Мы облюбовали себе парты и с трудом втиснулись в них, испытывая при этом такое чувство, словно натягивали на себя одежду десятилетней давности и она вот-вот разорвется по швам.

— Был на футболе? — поинтересовался я.

— Да. Как наши играли!

— Авто тебе понравился?

— Он почти не играл. Но оба раза едва коснулся мяча, как тут же забил гол.

— Авто великолепен!

— Да брось, дружище, играет, когда ему заблагорассудится.

— Ну и разбираешься ты в футболе. Авто поэт в футболе, понимаешь? Приходит к нему муза, он тогда и играет.

— Все вы только на него и молитесь. Стоит с вами разговаривать?.. — проворчал Нугзар и махнул рукой.

— Знаешь, как играет Авто... — начал было я, но Нугзар прервал меня.

— Да оставь ты своего кумира в покое. Если бы ты знал, кого я вчера встретил в Пасанаури?! Представь себе — Гулико, — сказал он и испытующе посмотрел на меня.

— Какую Гулико?

— И ты еще спрашиваешь?

Уши у меня точно водой заполнились. Куда-то вмиг исчезли все звуки и только слова Нугзара доходили до моего слуха. В таких случаях хорошая затяжка равновесильна валериановым каплям. Я закурил. Закашлялся. Главное, выиграть время и не выдать своего волнения. Дым больно царапает горло, и я снова кашляю.

— Гулико пока в Пасанаури? — спрашиваю я как бы между прочим.

— Да, справлялась о тебе.

— Что она сказала?

— Спрашивала, как ты. Я сказал, что ты чувствуешь себя прекрасно. И ночью спишь спокойно, и в весе прибавил на пять килограммов. Одним словом, в здоровом теле — здоровый дух. Таков результат труда.

Нугзар улыбается.

— Сумасшедший ты, — вздохнул я.

— Успокойся, вас разделяет огромное расстояние. Подожди-ка, сколько километров от Барисахо до Пасанаури? Шестьдесят до Живвали, да еще тридцать...

До слуха моего доносились отдельные слова, только слова. Смысла их я не понимал. Я не смотрел на Нугзара, но чувствовал, что он лукаво улыбается.

С самого утра сегодня какое-то непонятное чувство тяготило меня, не давало покоя. Теперь это чувство сменилось другим, похожим на ожидание. Поначалу — ожидание, потом — раздумье. Словно стоишь ты на перроне и в ожидании поезда считаешь минуты. Минуты текут медленно. Поезд вышел с соседней станции. Ты уже ждешь его натянутыми, как струна, нервами. На перроне становится оживленнее. А поезда все нет. Ты устал ждать, и теперь тебя одолевает

лишь одно желание — уйти, оставить перрон, но ноги твои прикованы к перрону и не подчиняются тебе.

— Не думал, что эта весть так взволнует тебя, — сказал Нугзар.

— Не издевайся...

— Я не издеваюсь, я жалею тебя, — говорит он, улыбаясь. А мне слышится другое: «Что с тобой, друг? Очнись! Со временем все выходит из моды — песни, костюмы, анекдоты. Есть такие, для которых даже книги выходят из моды. Короче, тысячи вещей становятся немодными. Люди забывают о них. А ты похож на человека, который одет сегодня в непомерно широкие брюки, потому что ему не охота следовать за модой. Ходит в брюках старого покроя, тем более что привычка вторая натура».

Нугзар грустно смотрит на меня. «Нет, он не издевается, — подумал я. — Грусть уже признак сочувствия».

— Эх, первая любовь не только у тебя, но даже у Гете не была счастливой. Ребенок ты, совсем еще ребенок.

— Поехать в Пасанаури? — вырвалось у меня. Вопрос прозвучал, как мольба. Я точно просил позволения кинуться очертя голову в прошлое. Позволения и одобрения.

— Как хочешь, — сказал Нугзар.

«Как хочешь...» Эти слова, как концы оборванной веревки, повисли в воздухе. Нугзар ничего не сказал мне, его слова означали то, что мне самому следует прийти к какому-либо решению.

— Ты не хочешь есть?

— Нет, — бросил я. Разве я мог думать о еде. — Я поеду в Пасанаури.

— Тебе виднее. Что ж, пока.

Он довольно холодно попрощался со мной и пошел к столовой, которая находилась шагах в двадцати от почты. В столовой всегда было темно. В жару прохлада сырых стен отрезвляла, как ливень. Сейчас Нугзар сядет за стол, ему принесут позавчерашнюю каурму из печенки. Он еще пожалеет, что напомнил мне о Гулико. Нугзар не любил Гулико и старался не говорить о ней, ибо знал, что добрым словом ее он не помянет. Теперь он, конечно, сожалеет, что вспомнил ее, но ему принесут остывшую каурму, он проглотит первый кусок, и злость перекинется на официанта.

А я пошел вниз, к дороге. Впереди меня шел лейтенант милиции. Он с трудом удерживал на поводу немецкую овчарку, которая рвалась вперед с куском мяса во рту, то и дело выносивая на земле след. И человек, и собака ни на кого не обращали внимания. На правом боку у лейтенанта висела кобура.

— Так овчарка доведет его до самого Тбилиси, — пошутил какой-то прохожий.

Я засмеялся, представив себе, как бежал бы до Тбилиси лейтенант со своей немецкой овчаркой.

— В горах у пастухов украли бурки, — услышал я.

— Конечно же, надо найти этих мерзавцев, а как же! — сказал, волнуясь, высокий одноглазый мужчина в длинном до пят дождевике. «Интересно, зачем он в плаще в такую жару?» — подумал я.

...Узкая, извилистая дорога вдоль реки почему-то вызвала у водителя желание состязаться с рекой. Слева тянулось ущелье.

Наш грузовик был похож на разъяренного быка. Словно вывели его из темницы на свет и пустили бежать по своей воле.

Прибрежные леса сменяли друг друга, и волны следовали одна за другой. Река без оглядки неслась вперед. И бык совершенно потерял чувство реальности, туман неистовства застилал ему глаза.

На поворотах я замечал, как колесо повисало в воздухе, машина, словно клоун на проволоке, играла с опасностью. Все были пьяны: машина, водитель, путники.

Пыль, поднятая с земли, шлейфом окутывала оставшуюся позади дорогу. Я с излишней любознательностью изучал пыль, поднятую машиной, и на поворотах изо всех сил зажмурился, чтоб не видеть повисшего в воздухе колеса.

Приглядываюсь к спутникам. Пытаюсь прочесть на их лицах хоть тень страха, но тщетно. Все пьяны.

...Неожиданно всплывают в памяти ворота, у которых мы останавливались после долгого блуждания по улицам. Я пытался продлить минуты пребывания у этих ворот. «Иди, подошел твой трамвай», — говорила Гулико. «Я люблю возвращаться пешком», — отвечал я. «Уже поздно». — «Мне некуда спешить». Я шел обратно посреди улицы, напевая что-то и ничего не видя и не слыша вокруг. Проходил мимо большого, похожего на тюрьму, дома, выкрашенного в строгие темные краски. В нижнем этаже дома находилась пекарня. В ней даже поздно ночью пекли хлеб. Горел грустный свет, который называют дневным. Все было

белым: и лица пекарей, и стены, и шарики теста. Но это был безжизненный, мертвый цвет. Здесь круглые сутки пекли хлеб, я думал, что здесь пекли хлеб и тогда, когда меня еще и на свете не было, и будут выпекать потом, когда меня не станет. Было радостно и спокойно на душе при мысли, что вот ночью здесь пекут хлеб и на рассвете его продают — свежий, горячий, вкусно пахнущий хлебом....

...Но вот мы нагнали другую машину, которая, видимо, никуда не спешила. Бык еще более разъярился, точно перед ним взмахнули красным лоскутом.

Сигнал оглушил ущелье. А машина впереди спокойно продолжала свой путь.

Я различил в передней машине две спины. Водитель был поглощен беседой с женщиной. Наверняка они беседуют о постройке дома. «Уже вставили окна и двери?» — спрашивает, видимо, женщина. «Да все некогда, вот дадут отпуск, закончу все дела», — отвечает водитель. В деревнях, раскинувшихся вдоль дороги, стоят незавершенные постройки, и кажется, что все вокруг говорят только о строительстве.

Из машины, шедшей впереди, на дорогу льется спокойствие, подобное тому, которое исходит обычно от высокого потолка и теплой постели.

А разъяренный бык ничего вокруг не видит. «Обгони!» — кричат пьяные путники. Одни, схватившись за руки, барабанят по кабине и вопят: «Обгони!» Другие поют. И песня эта похожа на вопль. Бык задыхается от пыли, которую поднимает идущая впереди машина, и вовсе теряет рассудок. Сигналы, как вопли в ночи, тонут в пространстве.

Водитель одержим единственным желанием — азартным желанием обогнать всех и вся, он состязается со всем, что только встречает на пути: с горой, рекой, даже с собственным отрезвлением и с этой, похожей на улитку, машиной. «Обгони! — доносятся вопли из кузова. — Поддай ее как следует!» — Эти вопли будто отрезвляют водителя, но поздно. Бык все-таки налетел на противника. Послышался звон разбитых стекол...

— Почему не уступаешь мне, болван? — заорал водитель пьяной машины, с ключом в руке выскочил из кабины и ринулся к передней машине. Но его удержали.

Я выпрыгнул из машины. Колени у меня дрожали. Стоя поодаль, я наблюдал за словесным поединком водителей. Все кончилось миром. Пьяная машина снова зашумела пьяными путниками.

— Ты не едешь, дружище? — спросил меня хрипло один из них.

Я отрицательно покачал головой.

Водитель передней машины подъехал к самой обочине. Успокоившийся было бык с трудом протиснулся вперед, снова пришел в неистовство и бросился с ревом доронять реку.

— Смотри-ка, еще сам и ругается, — говорит водитель.

— В самом деле, — поддакиваю я.

— Один из таких вот лихачей налетел как-то на придорожный столб и возмутился, что столб не на месте торчит.

— Ничего себе!

— Как он ругался, а? — снова разволновался шофер.

— А ты чего молчал?

— Какой с пьяного спрос? Ему ведь море по колено. Изувечит тебя, а потом ищи-свищи...

— Рано или поздно все равно поймают.

— Поймают, говоришь? А мне что с этого?

— Ты никого из них не узнал?

— Нет, они, видать, не здешние, может, те самые топографы из города, что ли...

— До Жинвали не довезешь?

— Нет, браток, еду в Орцкали. За песком. До сумерек еще два рейса должен сделать.

— Хорошо, довези до Орцкали.

В Орцкали я долго ждал попутной машины.

Устав, я присел у родника, в тени деревьев. Ко мне подошел мужчина средних лет в тушинской шапке.

— Ты, сынок, не знаешь, когда возвращаются студенты с целины? — спросил он меня и присел рядом.

— Наверное, в конце сентября.

— Сын у меня там, студент. Боюсь, чтоб ничего с ним не случилось. Трудно, небось, на целине парню, выросшему в горах. Слышал я, там очень жарко и нет воды.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ  
ԳՆԱԿԱՆԱԿԱՆ  
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

— Кто вам сказал это? Глупости все.  
— Как?

— Это в пустыне нет воды и очень жарко. Целина — это совсем чудесная вода. А жарко летом всюду, вот и в горах жарко.

— Ты бывал на целине?  
— Да, два года назад.  
— Ну, сынок, спасибо, успокоил ты меня.

— Не бойтесь. Привыкнет, научится трудиться, да и мир повидает. Побывает и в Москве.

— Работы мой сын не боится.  
— Где он учится?  
— В зоотехническом.  
— А-а!  
— Очень нужная для нас профессия.

— Гляди-ка, ни одной машины за столько времени!.. Хорошо было бы сейчас окунуться в воду.

Я встал и пошел к реке. Снял с себя грязную, пропотевшую рубашку в клетку, кое-как постирал ее, разложил сушиться на песке, а сам лег рядом. Приятная дремота разлилась по всему телу, я закрыл глаза, и вмиг вокруг все замолкло. Исчез даже шум реки...

Когда я открыл глаза, дорога по-прежнему была пуста, не было видно и моего собеседника. Я долго еще ждал машины. В Жинвали я попал только к вечеру.

Я протянул водителю деньги. Он отвел мою руку в сторону.

— Ты разве не геолог? — спросил он.  
— Да, а ты откуда знаешь?  
— Я видел тебя в Барисахо. Ну как, закончили работу?  
— Да.  
— Ты грузин?

Я кивнул головой.

— Ты грузин и притом ищешь в Грузии минеральную воду. Ну разве я могу взять с тебя деньги?

В кабине рядом с шофером сидел одетый по-городскому мужчина. Он громко засмеялся.

— Да нет, будь ты даже не грузин, — оправдывался шофер, — ты ведь ищешь минеральную воду? А нам больше ничего не нужно. Иф-иф — что может быть лучше боржома после хорошего кутежа!.. — Шофер высунулся из кабины, обнял меня и расцеловал. «Веселый парень, ничего не скажешь», — подумал я. — Тебе надо в Пасанаури? Что поделаешь, дорогой, ночью мне надо быть в Душети, иначе, клянусь честью, довез бы.

— Большое спасибо, — сказал я.

Потом я долго вытирал губы платком. «Чего он полез целоваться», — ворчал я, шагая к турбазе.

К Гулико я пришел утром.  
— Ты пополнел, — сказала она.  
— Спасибо, — пробормотал я.

На столе лежит зеркальце. Я смотрюсь в него. Конечно же, я не пополнел, но у меня хороший цвет лица, я загорел, немного оброс, и это мне к лицу.

— Ведь я права, ты поправился, верно?  
— Как сказать. А вот то, что ты похорошела, не подлежит сомнению.

Гулико смеется. Я чувствую, что этим смехом она хочет скрыть свое волнение.

— Тебе кажется. — Эти слова она старается произнести спокойно, но я слышу, я вижу, как беспокойно у нее на душе.

Мне хорошо в этой комнате, простой и тихой. Ставни наполовину прикрыты, в комнате полумрак. Мысли мои убегают в прошлое, и я покорно следую за ними.

Высокие окна старинного дома выходят в сад. Я поднимался по мраморным лестницам, машинально считая ступени, чтоб не слышать, как отчаянно стучит мое сердце. На несколько минут я задерживался в нерешительности у дверей, потом робко нажимал на кнопку звонка. Я долго и осторожно проходил через длинную прихожую, стараясь не стучать своими тяжелыми, подкованными каблуками. Огромная, с высоким потолком комната внезапно поглощала меня. Я трепетным взглядом скользил по стенам, останавливал взгляд на синем ковре и чучелах птиц. Мебель в комнате была расставлена как-то естественно и непринужденно. Я проходил мимо телевизора и магнитофонов и, обрадовавшись, затаив дыхание, останавливался у книжного шкафа. Так радуешься знакомому, которого вдруг встречаешь в чужом для тебя обществе. Все в этом доме было слишком роскошно для меня. Я это сознавал. Нитки из рукавов моего поношенного пиджака торчали, как волоски на теле дрожащего от холода человека. Я чувствовал это,

чувствовал каждой клеткой своего тела. Я провел пальцем по пыльной крышке пианино и неловко почистил запачканный палец о брюки. Потом снова замер возле шкафа с книгами. «А теперь поужинаем, хорошо?» — Они всегда приносили меня поужинать. Я старался спрятать руки в карманах брюк, чтоб они не видели истрепанные рукава моего пиджака. Я отказывался от сациви и ел только рассыпчатую картошку.

...Сейчас Гулико поставила на стол тарелку с помидорами и огурцами. Соль она, конечно, забыла. Да, хозяйка из нее не получилась. Что поделаешь?

— Я думал, ты уехала из Пасанаури.

— Мы не смогли уехать.

— Если бы я не встретил Нугзара, я бы и не знал, что вы еще здесь.

— Да-а, Нугзара...

— Он женился, знаешь?

— Правда?

— Скоро у них будет ребенок.

— Хорошая у него жена?

— Ты лучше.

Гулико засмеялась.

Мы молчали. Ворот домашнего халата у Гулико распахнулся. Она заметила мой взгляд, растерянно улыбнулась и застегнула ворот.

— Не надоело тебе в Пасанаури?

— Надоело. На днях поедом на море.

— Хорошо на море. Выйдешь на пляж, кругом — пахнет морем. И песок, и камни пропитаны солью, и даже воздух.

— И тело пропитывается запахом моря, верно?

Я представил себе, как ты легкой, упругой походкой идешь по пляжу, все смотрят тебе вслед, женщины завидуют тебе. Ты знаешь об этом, и тебе это приятно. Мужчина рядом с тобой может гордиться — ты красива, ты привлекаешь к себе всеобщее внимание.

— Ты всегда любила море, — сказал я.

— Да, очень люблю море. С самого детства. Я привыкла к нему, привлекалась.

— Разве любовь — это только привычка?

— Не знаю, — сказала Гулико.

— Ты и меня заставила полюбить море.

Да, я полюбил море, потому что его любила ты. Потом я строил радужные планы. В январе мы поедом в Бакуриани, июль проведем в горах, август — на море.

— Знаю, но мы никогда не были вместе на море.

— И в горах тоже, — добавил я.

— И в Москве, — сказала она.

— И в Бакуриани...

Был или не был в нашей жизни Бакуриани?

...На заснеженном склоне не было ни флажков, ни деревьев, которые следовало бы обходить по правилам слалома, но Гия, подчиняясь внутреннему голосу, соблюдал все правила. Он виртуозно обходил воображаемые деревья и флажки. Из-под его лыж, как стая вспугнутых птиц, разлетался в стороны снег. Он спускался по склону так, словно за ним следили глаза зрителей, заполнивших всю трассу слалома, от старта до финиша. Любопытные, взволнованные лица, ободряющие возгласы, парад разноцветных джемперов у финиша и щелканье фотоаппаратов... Ничего этого, конечно, не было. Единственным зрителем была только Гулико, самый дорогой зритель во всем Бакуриани. Гулико стояла на вершине холма и смотрела, как по склону скользит Гия, оставляя на снегу четкий след. Вот Гия уже спустился, воткнул палки в снег и помахал ей рукой: «Не робей!» Гулико, взяв палки под мышки, смело устремилась вперед. Ветер нащепывал ей что-то на ухо, она, внезапно испугавшись чего-то, зажмурилась и понеслась вперед, ничего не видя и не чувствуя. А впереди простирался бесконечный снежный склон, казалось, не было ему ни конца, ни края. Она очулась только тогда, когда почувствовала, что с головой зарылась в сыпучий, сухой снег. Снег забился за ворот, мороз бойкими капельками проник дальше и электрическим тоном пронзил разгоряченное скольжением тело. Гия смеялся.

— Ну разве можно тебе становиться на лыжи! Тебе место лишь в санках, рядом с детьми.

— Не издевайся, всему можно научиться.

— Хочешь, я научу?

— Не хочу.

— И в самом деле, зачем тебе это? Такая ты лучше.

— Какая?

- Вот такая, какая ты есть — трусиха и беспомощная.
- Не подтрунивай.
- Я говорю правду. Такую тебя я особенно люблю.
- Пойдем.
- Домой?
- Да, домой, мне холодно.

Нет, не было Бакуриани в нашей жизни... Вместе мы были только в Квишхети.

— Помнишь Квишхети?

Гулико не ответила.

...Помнишь деревенское кладбище ночью? Ребята в тот день немного выпили. Вот почему не чувствовали мы страха. Не было у нас и того робкого чувства, которое охватывает человека, пришедшего на кладбище. Деревня осталась позади. Кое-где мерцали огоньки. Ребята были возбуждены. Тамаз читал стихи. «Не сказав мне ни слова, вышла ты замуж», — читал он громко и с чувством и под конец переходил на страстный шепот: «О, как нелепо ты вышла замуж...» Женщины смеялись. Женщинам нравился Тамаз и нравились его стихи. Они уже были замужем и страстными строками стихотворения их трудно было смутить. А тебе тогда было только восемнадцать и тебе казались неприличными и сами стихи, и смех женщин. Ты, конечно, покраснела. Было темно, я этого не мог видеть, но я знал наверняка, что ты покраснела. Я преисполнился к тебе нежности, ты была так беспомощна в своей наивности. Тамаз еще долго читал стихи. Потом мы пошли домой. У калитки нас, как обычно, встретила собака. Это была добрая и бедная собака, я не помню, чтоб она на кого-либо лаяла. Я даже думал, что у нее нет зубов. И мне было больно видеть ее такую добрую и бедную.

Воспоминания, воспоминания... Они приходят порой невольно, неожиданно и непонятно, они точно снег в летнюю пору. Говорят, когда человеку перевалит за двадцать пять, он уже начинает жить воспоминаниями. «А тебе нет еще двадцати пяти, откуда же берется эти воспоминания», — спрашиваю я самого себя. Я мечтаю о том, чтоб исчезло слово «вчера» и осталось только слово «завтра». Но тщетно. Я словно после долгого и тяжелого сна не могу открыть глаза, и вместе со вчерашним сном оживают и, как репей, липнут ко мне воспоминания.

...Потом я встретил тебя в Тбилиси с каким-то парнем в шляпе. Выбритый, спокойный, он не держал рук в карманах. «Знакомьтесь», — сказала ты. Парень в шляпе протянул мне руку и сказал, что рад познакомиться со мной. Я, смутившись, пробормотал невнятно собственное имя. «И ты выйдешь замуж нелепо», — подумал я потом. Твой друг в шляпе знал все. Он знал, что одних слов недостаточно для любви, что девушке следует оказывать особые знаки внимания, что в кино ей надо купить шоколад, что, спускаясь по лестнице, надо идти чуть впереди... Он знал еще многое. До этого я часто повторял, что любовь похожа на игру в покер, а в покер играют до конца, какая бы карта тебе ни выпала. Любая игра требует риска, но я не рискнул, не доиграл до конца. Аполлону выпал флеш-ройяль! Сердце, переполненное трепетной любовью, и небрежно спадавшие на лоб волосы были бессильной комбинацией по сравнению с флеш-ройялем.

В ваш дом пришел Аполлон. Казалось бы, ничего не изменилось в вашем доме. Только вот к картине Шишкина и пейзажу Левитана прибавилась новая картина — нагие женщины, танцующие на зеленом лугу. Резкие, неестественные краски. Так красят обычно фотографии провинциальные фотографы. И у меня была репродукция картины обнаженной. Работа Ренуара. Но я не кичился этим и не выставлял ее на всеобщее обозрение, хотя это следовало бы сделать. Ведь женщина, изображенная на ней, была символом красоты. Спокойное лицо, огромные голубые глаза, красные, как горящие уголья, губы и волосы цвета сена. Она вызывала у меня самые чистые, самые святые чувства, такие, которые связывали Адама и Еву, пока не появился змей-искуситель.

...В комнате тихо и прохладно.

— Как поживает твой муж? — спрашиваю я обычным голосом. Но четыре слова неловко сталкиваются и вмещают в себя все: боль, ущемленное самолюбие и показное равнодушие. Как гром среди ясного дня, прогремели эти четыре произнесенных тихо слова. Гулико боится поднять глаза и что-то старательно ищет на полу.

Мы друзья — я и Гулико, и я, конечно, знаю, как поживает ее муж. Знаю и то, что он ревнует ее ко всем ее друзьям, он не любит, когда к ней приходят товарищи, и они шепчутся о чем-то, непонятном ему, а потом смеются, смеются громко и беспечно. И друзья Гулико сторонятся его. Знаю и то, что Аполлон не любит, когда Гулико одна выходит из дома. Без мужа, одна, представляете! (Только на минуту вообразите, что вдруг ожил ваш письменный стол и пошел куда-то. Идет он по улице, а прохожие могут подумать, что у письменного стола нет хозяина, и присвоят его себе).



Аполлон считает, что весь Тбилиси очарован красотой Гулико и ее на улице преследуют тысячи страстных и жадных глаз. Я все это знаю и почти не слушаю Гулико. Мне неловко заглядывать в щелку в чужую комнату.

Мы говорим, говорим обо всем на свете, и я чувствую, как комнату пенно заполняют открытость и доверие. Гулико уже открыто смотрит мне в лицо, она сидит, заложив ногу на ногу, и рассказывает, монотонно качается туфелька на ее правой ноге, и доверчиво оголена пятка.

Месяц назад я чувствовал себя здесь чужим. Аполлон заполнил собою всю комнату: в длину, в высоту, в ширину. Окна были открыты, и полуденный зной властно и бесцеремонно вторгался во владения Аполлона. На красноватом носу Аполлона проступали капельки пота, он то и дело проводил пухлой рукой по толстой шее и был доволен всем: собою, своей женой, своей комнатой и даже жарой.

Он беззастенчиво рассматривал мои запыленные башмаки. «Что ты потерял в этих грязных горах? Не надоело тебе скитаться?» — спросил он. Я не ответил. Мне было лень говорить. «Нет, Пасанаури все-таки великолепное место, — продолжал рассуждать Аполлон. — Прямо райская жизнь — природа, птицы щебечут...» «Птицы щебечут и в Тбилиси», — прервал я его. «Нет, в Тбилиси птицы не так щебечут, зато в Тбилиси комфорт, а здесь нам его не хватает. Скажи, недурно было бы иметь здесь телевизор и холодильник, а? И впридачу корову. По утрам будешь пить парное молоко...» Я сказал: «Хорошо иметь комфорт и жену». «Жена у меня есть», — Аполлон довольный обнял жену. Я наблюдал семейную идиллию. «Эх, все в жизни не так, как должно было бы быть, — продолжал Аполлон. — А знаешь, как должно быть? Нажмешь кнопку — и все белье выстирано, нажмешь другую — выглажено, нажмешь третью... Одним словом, должна быть сплошная механизация. Пора уже. И не только дома, но и на работе». «За что же нам будут выдавать зарплату?» — спросил я. «Денег не будет», — сказал Аполлон и длинным ногтем на мизинце подправил усы, свои холеные, роскошные усы. «Что же ты будешь тогда копить?» — подумал я и тут же решил: наверное, марки или порнографические картинки.

Как неиспользованные негативы, лежат в глубине памяти воспоминания. Негативы — белые силуэты на черном фоне. Иногда вспоминаешь о них, и тогда негативы оживают, ты печатаешь фотографии — одну, вторую, десятую, двадцатую...

Я вмиг все вспоминаю: и заставленные мебелью солнечные комнаты, и пыль на пианино, и золотых рыбок в аквариуме. Вспоминаю все — стыдливо запрятанные в карманы руки и холодный картофель...

Мне не хочется печатать эти негативы. Лучше я напечатаю водителя, который расцеловал меня и не взял с меня денег. Или же другого, который был похож на пугливого зайца. А может быть, даже того водителя, который, вкусив прелесть соперничества, бросился вдогонку за рекой. Напечатаю бородатого херсура, не забывшего своей любимой, или же проводника нашей экспедиции. Он шел с нами, вооруженный кинжалом, все говорил нам доверительно, что у него есть враги, а мы все смеялись над ним.

Люди эти — как чистое вино, без примеси воды. У них свой мир, своеобразный и недосыгаемый для многих.

... — Ты не слушаешь меня? — спрашивает Гулико.

— Слушаю. Ты говоришь об Аполлоне.

— Нет, я говорю о себе.

— Говори, я хочу, чтоб ты говорила, тебе будет легче.

— Что происходит со мной, я сама не пойму. Знаешь, иногда хочется без всякой на то причины, просто так, покрасить губы, очень ярко, слоняться по улицам без всякого дела, пойти к подруге на день рождения, танцевать до упаду, говорить что захочется, пусть даже глупости. Пойти в кино, смотреть на Грегори Пека и не бояться сказать вслух, что он красивый мужчина.

— Нет, тебе нельзя делать этого.

Гулико замолкла и снова опустила голову. Казалось, выговорившись, она успокоилась и сидела теперь молча, нахохлившись и сжавшись в комочек, как беспомощный птенец.

Мы долго сидели молча.

— Как ты нелепо вышла замуж... — пробормотал я.

— Да, нелепо. И в этом виноват ты.

— Что?

— Ты виноват. Мы могли быть вместе. Вместе поехать в Бакуриани, на море. Я бы смотрела фильмы, и ты б не обиделся, услышав, как я восторгаюсь Грегори Пеком, да и я бы спокойно выслушала твои восторги...

— Я бы никем не восторгался. Ты самая красивая на свете, — прервал я Гулико.

— Вот видишь, конечно же, ты виноват. Ты всегда думал, что я самая красивая, самая лучшая на свете. И еще ты думал, что твоя любовь безнадежна...

— Так и вышло.

— Ты, ты виноват во всем. Помнишь, как часто ты говорил мне, что я не люблю тебя, словно старался убедить меня в этом. Ты наслаждался собственной болью.

- Скажешь тоже...
- Да, собственной болью. Ты это отлично знаешь.
- Нет, я считал, что ты достойна лучшего, чем я.
- И спокойно отдал меня другому.
- Я не хотел этого...
- Ты легко примирился с поражением.

Прежде Гулико не бывала со мной так откровенна. Как черепаха, пряталась она в панцирь, и тщетны были мои попытки растрогать ее. Теперь же мы поменялись ролями. Я не знал, что сказать ей, как вести себя в ответ на ее откровенность.

«Она не красит губы, — думал я, — потому что Аполлон запретил ей это. Неужели и глаза не обводит? Так откуда же у нее такие синие глаза?»

Мысли тяжело ворочаются в голове.

— Ты снова не слушаешь меня. Куда ты все время исчезаешь? И о чем ты думаешь?

— О том, что таких глаз, как у тебя, нет ни у кого на свете.

Усталое лицо Гулико засветилось доброй улыбкой.

Я засмеялся и сказал:

— А что, я не прав?

— Аполлон не интересовался, люблю ли я его, — продолжала думать вслух Гулико. — Он женился на мне, потому что я нравилась ему, и считает, что и я обязана любить его.

— Так ты ведь любишь его...

— Наверное, должна любить, потому что не хожу на базар, не мою посуду, летом отдыхаю на разных курортах. Зато я не должна красить губы, не должна ходить к друзьям, не должна видаться с тобою. Он не верит в нашу дружбу.

— Совершенно напрасно.

— Нет. Он прав...

Я вспомнил, что раньше я часто мечтал о том, чтоб Гулико заболела. Может быть, больная и беспомощная, она прозреет и поймет, что только моя любовь может спасти ее.

— Ты никого не любишь? — неожиданно спрашивает Гулико.

А мысли снова уносят меня в прошлое. Как давно это было! Отец еще не вставал. Я просыпался рано и перебирался к нему в постель. «Хочешь сосчитаю до миллиона?» — «Ну, начинай». Я начинал считать. Досчитывал до шестидесяти или семидесяти, и отец прерывал меня: «Молодец, хватит. А теперь вставать». Я продолжал считать. Тогда отец вскакивал с постели, бежал умываться и кричал: «Бог лентяев не любит!».

— О чем ты думаешь?

— О жизни, — отвечаю я.

— А ты слышал, о чем я тебя спросила?

Я полудлежал на тахте, прислонившись головой к стене. Руки по привычке держал в карманах.

Сколько раз снились мне кошмары, снилось, что я долго, бесконечно долго скитаюсь по пустыне. Обувь моя заполнялась песком, тело обжигало солнцем. Мне было душно и жарко. Но кругом — голая пустыня и никакого намека на воду. Я доставал из-под мышки градусник и видел, что температура у меня поднялась до сорока. Я горел, а пустыня была еще жарче. И пустыня была больна. Вокруг меня — лишь скелеты людей, испепеленных зноем. Потом вдруг лив грязный дождь. Я собирал в горсть дождевую воду. Дождь был спасением, мне казалось, что он ласкает меня. Но он был добр не только ко мне. Дождь был милостив и к песку, и к кустам саксаула, и к пресмыкающимся, которыми кишела пустыня...

«Ты никого не любишь?» — Мне словно дали пощечину, и я тотчас трезвею.

Гулико сидит на тахте, рядом.

— Почитай мне свои стихи...

— Не помню.

— Прощу тебя.

— Любовь — это не только стихи.

— Мне нравятся твои стихи.

— Только стихи?

— Нет, и еще твой смех.

- Разве я часто смеюсь?
- Нет, но у тебя хороший смех.
- Засмеяться?
- Нет, лучше почитай стихи.

«Остывший, как улица после дождя...» — начал было я, но стихи кажутся мне чужими.

- Продолжай.
- Не хочу. У меня от стихов портится настроение.
- А у меня наоборот.
- Когда-то и у меня было наоборот.
- Читай.
- Нет, не могу.

Гулико сидит рядом, совсем близко, так близко, что я вижу все, что таится в ее глазах.

Палящие лучи солнца вмиг высушивают мокрую от дождя улицу, и, разгоряченная солнцем, улица пробуждается.

Руки мои ласкают ее волосы, рассыпанные по плечам, разум мой уже не различает желаемое и действительность, явь и сновидение. Я целую ее, целую так, словно целовал до этого сотни, тысячи раз, я уже не принадлежу самому себе, куда-то влечет меня внезапно прорвавшийся ливень. Я забываю все — что было и чего не было...

Потом я стоял у окна, спиной к тахте, на которой, закрыв глаза, лежала Гулико.

Я видел, как невдалеке от дома остановился автобус. Из него вышли пассажиры и разбрелись по разным сторонам. У одних в руках была сумка, у других — небольшой чемодан.

— Что ты там увидел? — услышал я голос Гулико.

Она стояла рядом со мной и расчесывала волосы.

- Автобус прибыл.
- Из Тбилиси?
- Наверное.
- Который час?
- Четыре. Почему ты спрашиваешь?
- Да так.
- Он точно не приедет сегодня?
- Боишься?
- Нет, напротив.

Гулико удивленно взглянула на меня.

Я в самом деле хотел, чтобы он приехал. Он войдет в комнату и все поймет. Потом? Что же будет потом?

Я обнял Гулико. «Раньше ты была худее, — подумал я. — Для чего тебе эти курорты, куда каждую субботу приезжают мужья и подробно рассказывают о том, какая жара в Тбилиси. Выряженные в пестрые пижамы, они гуляют по двору, днем играют в волейбол, чтоб сбросить жир, вечером — в лото. Почему именно в лото?.. Нет, ты должна уехать со мной, должна быть со мной».

— Всегда со мной, — сказал я вслух.

Гулико удивленно взглянула на меня.

— Ты не хочешь есть? — спросила она.

- Нет, и пить не хочется, и спать, и вообще я никуда не спешу.
- Завтра придет Аполлон...
- Я останусь в Пасанаури.
- Не надо. Что скажут соседи?
- К черту соседей.
- Аполлону будет неприятно видеть тебя в Пасанаури.
- К черту Аполлона! — возбужденно повторил я.
- Не надо так.
- Хорошо, я уеду. Когда же я могу приехать?
- Когда?..
- Завтра или в воскресенье, в понедельник?..
- Нет, завтра нельзя. Завтра придет Аполлон.
- Понятно, — сказал я.
- Пообедаем? — спросила Гулико.
- Как хочешь...

Мы обедали, и я рассказывал ей, какое чудесное пиво готовят в Архоти, рассказывал о том, как искали мы минеральную воду, о том, что Барисахо становится вполне современным селом, потому что смуглая дочь пекаря разъезжа-

ет по улицам на велосипеде, а напротив почты живет какая-то девушка, которая не боится ходить в брюках.

А время неумолимо отсчитывало часы, минуты. Приближалось время отъезда. Гулико, опустив голову, суетливо собирала со стола посуду. Она боялась поднять голову, чтоб не встретиться со мной взглядом.

— Теперь я знаю, что мне делать, — сказал я. — Ты увидишь, все будет, еще все будет в нашей жизни...

Я ушел.

Едва я свернул на проселочную улицу, как хлынул дождь. Улица быстро опустела. Я ускорил шаг, потом побежал. Я бежал, и мне чудилось, что кто-то преследует меня. Может быть, это даже тот молодой симпатичный лейтенант милиции, который с трудом удерживал на поводу овчарку. Я вспомнил, как во всю прыть бежала овчарка с куском мяса во рту. Интересно, нашли тех, кто украл у пастухов бурки? До чего же надо докатиться, чтоб оставить пастухов в горах без бурки. А какие непогоды бывают в горах!

Я продолжал бежать, преследуемый собственными мыслями, бежал так, словно я украл что-то и меня вот-вот нагонит лейтенант милиции.

Наконец я добежал до ресторана. Здесь пусто и тихо. Официанты, зевая, спуют между столиками.

Я сел за столик и попросил водки.

— Давайте выпьем вместе, — предложил я официанту.

Официант колебался.

Я поднял стакан и сказал громко:

— Да здравствуют оазисы!

— Что?!

— Да здравствуют оазисы, говорю я.

— Да здравствуют! — повторяет официант, явно не понимая меня. — За твоё здоровье.

Выпили. Официант поморщился и заморгал глазами.

— Постарел ты, дяденька.

— Крепкая водка.

Я что-то не почувствовал этого. Наверняка она разбавлена водой. Я обмакнул колбасу в горчицу и вкусно откусил ее.

— Может быть, еще по одной? — спросил я.

— Нет, дорогой, благодарю.

— Что ж, выпью один. — Я снова налил себе водки, поднял стакан и, ни к кому не обращаясь, громко произнес:

— Давайте выпьем за пустыню, горячую и голую пустыню.

Буфетчик удивленно посмотрел на меня из своей крепости. «Интересно, за кого он меня принимает, — подумал я, — за сумасшедшего или пьянчужку? Пусть думает что угодно». И я снова обратился к официанту:

— Бог любит троицу, не так ли? Вот я выпью третий. Я поднимаю этот тост за мое счастливое отбытие и ваше благополучное пребывание здесь.

— Будь здоров, — ответил официант.

Я выпил за все: за этот зеленый ресторан, сонных официантов, буфетчика, которого я уже не удивлял, потому что он был уверен, что я пьян. «Как же он так скоро опьянел от разбавленной водки?» — наверное, подумал он.

Я встал, рассчитался с официантом и направился к выходу.

— Куда спешишь, дружище, дождь-то вон как льет, — сказал официант, провожая меня.

— О-о, — многозначительно сказал я. — Это тайна, я не могу открыться тебе. Слушай, дяденька, если палку опустить в воду, она будет казаться кривой, не так ли? А вытащишь ее из воды, она вовсе не кривая. Оказывается, кривизна кажущаяся...

Официант многозначительно похлопал меня по спине.

«И снова ливень будет лить...» — запел я.

— Вах! Не ливень это разве, а что же? — сказал официант.

— Нет, это уже не ливень. Вот вначале это был ливень. Теперь он похож на осенний дождь. А разве время осеннему дождю, не мог он подождать? Знаешь, что такое ливень? Ливень — это косяклет. Он хлещет весной, летом, иногда и зимой, и все на свете перемещается, и нет уже ни непогоды, ни погожего дня, нет...

У меня заплетался язык, и я так и не смог объяснить, что такое ливень. «Да и к чему?» — подумал я. — Он и сам, наверное, знает, чем отличается ливень от холодного осеннего дождя. Но вот что такое оазис, он наверняка не знает».

Я стоял посреди дороги, безнадежно подняв руку. Разъяренные водители обьезжали меня, машины пронеслись мимо, чуть не задев меня. Сидящие на заднем сиденье автобуса пассажиры, смеясь, махали мне рукой. Я в ответ зыл им кулаком.

Наконец надо мной кто-то сжалился. Прямо передо мной остановилась «Волга». В ней сидели двое.

— В Тбилиси? — спросил меня сидящий за рулем.

— Да, — ответил я.

До самого Жинвали я крепко спал. Проснулся оттого, что машина остановилась. Я открыл глаза. Машина стояла возле столовой.

— Захватчу лимонаду на дорогу, — сказал водитель и вышел.

Вскоре мы выехали на шоссе. Стрелки спидометра дрожали уже возле цифры 100. Водитель включил радиоприемник. Передавали народные азербайджанские песни — байаты.

— Эх, сейчас бы «ча-ча-ча»! Вот было бы весело!

Мой попутчик засмеялся и переключил приемник. Из Тбилиси передавали последние известия.

«Хорошо, что из Барисахо в Тбилиси не летают самолеты, — думал я. — Сидишь себе спокойно в машине и видишь, как постепенно меняется пейзаж».

Только недавно горы, словно выстроенные в ряд солдаты, следовали вдоль дороги, а теперь впереди простирается широкая равнина, покрытая садами. Тумана нет в помине. Он остался в высоких горах вместе с проливными дождями...

Мы уже проехали Мцхета, когда я вспомнил, что оставил на почте в Барисахо свой рюкзак. В нем, правда, ничего и не было, кроме ношеной рубахи да свитера. «Может, Нугзар сообразит привезти мне его, а нет, так не беда. Я ведь нынче богат!» — подумал я многозначительно.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ



# Хирраფანი

Анна Агладзе

## Рассказ

**С**ЕРГО стоял перед зеркалом у окна. Досадуя на себя, он еще раз торопливо перевязал галстук. Нужно же ему тратить на это время — занимается черт знает чем!

Серго скосил глаза на разбросанные на кровати разноцветные галстуки и вздохнул. Есть вещи, не зависящие от нашей воли.

Кто-то сказал, что сила женщины в ее слабости, мягкости. Ох, как это правильно! Как тонко подмечено! Как раз все это есть в Этери. Но, может быть, это не любовь! Они так недолго знают друг друга! Но разве для того, чтобы полюбить, нужны годы! Говорят, что влюбленные теряют сон, а он сейчас же засыпает, едва успев положить голову на подушку, так и не помечтав о любимой девушке. Но ведь из-за Этери он пропустил два футбольных матча, и каких! Нет, нет, он ее любит! По-настоящему любит, и она может чувствовать себя спокойно за его спиной. Он уж никому не даст ее в обиду! И она это знает.

Фотография Этери стояла на письменном столе. Красивые глаза девушки задумчиво смотрели на Серго. Перед карточкой лежало недописанное им письмо к матери. Этери не может ей не понравиться.

Серго с нежностью вспомнил шершавые, мозолистые ладони матери. Много она поработала, чтобы поставить его на ноги без отца. Серго его не помнит. Пора бы ей отдохнуть. Что же, женится он на Этери, и будет у его матери дочь. Они счастливо заживут втроем.

Резко и неожиданно пробили стенные часы. «Опоздал!» Серго выбежал из комнаты, захлопнул дверь. Перескакивая через ступеньки лестницы и на ходу подтягивая пояс, он выскочил на улицу. Опоздал! Какой позор! Опоздать теперь, когда решается их судьба! Как некрасиво заставлять девушку ждать! И они могут опоздать к началу сеанса. Серго дотронулся до кармана, в котором лежали билеты, купленные еще утром, — Этери так хотела посмотреть этот фильм!

Серго мчался к условленному месту встречи, мысленно браня себя. Уже издали он увидел девушку в розовом платье, и по тому, как у него вдруг заколотилось сердце и перехватило дыхание, Серго понял, что это была Этери.

Да, это была она, и она шла ему навстречу.

Как радостно, как хорошо было все вокруг! Этери, улыбаясь и укоризненно качая головой, приближалась к Серго. На платье у девушки переливалась в солнечных лучах большая брошка.

Продолжая радостно улыбаться, Этери протянула Серго руку. Они побежали к остановке. Ловко лавируя и бесцеремонно пробивая себе дорогу локтями, она одной из первых вошла в троллейбус.



Серго, соблюдая очередь и пропуская вперед женщин, вошел в вагон последнего. Этери уже сидела и, увидев стоящего у дверей Серго, насмешливо покачала головой. Это значило: «Эх ты, шляпа!». Серго было досадно, что никто не видел, что это он вошел в вагон с такой прекрасной девушкой.

С передней площадки в троллейбус вошла немолодая крестьянка с набитым хурджином. Тяжело дыша, женщина облокотилась о спинку скамейки, на которой сидела Этери. Этери, конечно, не заметила ее, иначе она тотчас же уступила бы ей место. В этом Серго не сомневался.

— Серго!

Прекрасные сияющие глаза Этери смотрели на Серго. Улыбаясь ему, она показывала уже взятые билеты. Серго, тоже улыбаясь, кивнул головой в сторону женщины. Этери повернулась, и тут случилось совсем не то, чего он ожидал. Улыбка сбежала с лица Этери. Глаза ее недовольно скользнули по ставшей около нее женщине.

— Отодвинься! Чего ты наваливаешься на меня! — сердито сказала она и плечом отодвинула от себя хурджин.

— Вместо того чтобы отталкивать женщину, лучше бы место ей уступили, — громко заметил стоявший рядом с Серго пожилой мужчина.

— Да, ждите от таких!

В вагоне поднялся смех, послышались насмешливые реплики в адрес Этери. Этери приподнялась с места и посмотрела на Серго.

«Он вам сейчас покажет, как меня обижать, — говорил ее взгляд. — Он вам ответит за меня».

Но Серго не только не заступился за нее, он, избегая ее взгляда, стал смотреть в окно, делая вид, что ничего не слышит.

И это был Серго! Тот самый Серго, смелый парень, за спиной которого Этери чувствовала себя, как за каменной стеной! Делает вид, что его это вовсе не касается. Ах, раз так! Пусть он знает, что она обойдется и без его помощи.

— Нечего меня поучать! Не ваше дело! — крикнула Этери, снова демонстративно опускаясь на сиденье.

Пусть Серго знает, что она не даст себя в обиду, раз он считает, что все происходящее его не касается. Но Этери ошибалась.

Серго остро почувствовал, что это все касается именно его. И ему стало стыдно за Этери. Ему захотелось немедленно исчезнуть, чтобы не слышать ее слов, слов, каких не могла говорить любимая им девушка.

— Не ваше дело!

— Уступайте сами!

— Сам грубиян! Я не обязана.

— Это место не для инвалидов!

Троллейбус остановился. Здесь Серго и Этери должны были сойти. Демонстративно расталкивая на ходу пассажиров, Этери вышла из вагона. Серго, пропуская вперед пассажиров, медленно подвигался к выходу. Он явно не торопился. Ему хотелось сойти последним, чтобы никто не заметил, что он ехал с Этери, и когда Серго выходил из троллейбуса, он был далеко не таким восторженным, каким входил в этот вагон.

Короткий путь, который проделал троллейбус, показался Серго долгим и тяжелым. Произошла какая-то катастрофа. И Этери чувствовала это, смотря на медленно приближавшегося к ней Серго. Гневные слова упрека, которые она собиралась высказать ему, застыли на ее устах.

Серго подошел к Этери. Избегая взгляда девушки, он стал тщательно рассматривать свои начищенные до блеска ботинки.

Заложив руки в карманы брюк, все так же не поднимая головы, Серго начал тихо насвистывать. Это уже совсем было не похоже на него. Этери не выдержала.

— Что же мы? Так и будем стоять? Не идем в кино?

Серго кивнул головой.

— Идем.

— Этот противный хурджин чуть не порвал мне платье, — не совсем уверенно сказала Этери и несмело взяла Серго под руку. Она робко и ласково заглядывала ему в глаза, что-то торопливо и сбивчиво говорила ему.

Серго шел молча. Он не слушал Этери. Машинально скользнув по лицу любимой девушки, взгляд его остановился на большой, блестящей безделушке, которая украшала грудь девушки, — «бриллиантовой» брошке. Серго вдруг показалось, что он увидел ее впервые. Этери, перехватив взгляд Серго, сама не зная почему, смутилась и, продолжая что-то быстро говорить, прикрыла брошку рукой.

В зал они вошли, когда на экране уже демонстрировался журнал. Серго сидел рядом с девушкой, не ощущая от этого обычной радости, словно он поте-

рял Этери по дороге. Не смешила его и комедия. Серго смотрел на экран, а перед его глазами возникали то женщина с хурджином, то сердитое лицо Этери.

Они вышли из кино молча. После душного зала освежающе пахнуло ночной прохладой. Горели огни большого города, мягко катились машины. Было приятно идти по залитым светом улицам. Обычно из кино они шли до дома Этери пешком. И сегодня как раз должна была решиться их судьба. Этери знала это и ждала, что Серго скажет ей, что он ее любит.

— Я провожу тебя до дому, — вдруг сказал Серго, на ходу останавливая такси.

Посадив Этери в машину, он сел рядом с шофером. Через несколько минут они были у ее дома. Серго помог Этери выйти из машины и, как всегда, проводил ее до самых дверей квартиры. Он подождал, пока ей открыли, и, кивнув девушке, сбегал с лестницы. Расплачиваясь с водителем такси около своего дома, он вспомнил вдруг, что не условился с Этери о новом свидании.

Серго быстро поднялся по лестнице к себе в комнату, торопливо, не включая света, разделся и лег.

Но заснуть он не смог. Такое было с ним впервые. Он лежал с открытыми глазами и сам себе удивлялся.

— Что же, собственно, произошло? Неужели все дело в том, что Этери не уступила места пожилой женщине? Но как она перебранивалась, да еще с кем! И это Этери, такая ласковая, нежная. А какое у нее было злое, неприятное лицо! Но он все же не должен был быть таким грубым с ней. В конце концов, ничего такого она не сделала...

Убеждая себя в том, что ничего особенного в троллейбусе не произошло, Серго старался вспоминать об Этери только хорошее. Она умная, образованная девушка. Через год закончит институт иностранных языков. У Серго на письменном столе лежит статья, переведенная ею с грузинского на английский язык. А как она разбирается в живописи. Ему всегда делалось неловко перед ней, когда они бывали вместе на художественных выставках. По сравнению с ней он — профан. А музыка? Конечно, он тоже любит музыку... Нет, о чем тут говорить! Куда ему до Этери! Правда, он хороший математик... Конечно, у них немного разные взгляды на вещи, но он всегда во всем ей уступает. Ходит только туда, куда захочет Этери. А вот Этери никогда не уступит ему ни в чем. Он так любит народные песни и танцы. Завтра и послезавтра последние дни смотря самостоятельности, но Этери наотрез отказалась хоть раз пойти на концерт, а он с таким трудом достал билеты. «Пожалей меня, милый! Я терпеть не могу эти ужасные хоры», — ласково сказала Этери. И Серго скрепя сердце отдал билеты. Что ж! На то он и мужчина, чтобы уступать любимой девушке.

За стеной часы пробили три раза. Нет, видно ему не уснуть! Но ведь он ее любит и она любит его. Он знал это, и, если бы не случай в троллейбусе, они вчера вечером объяснились бы. Но какое у нее вдруг стало неприятное лицо!.. И как она грубо оттолкнула женщину! А может быть, хурджин действительно чуть не порвал ей кружева на платье? Как она сказала? «Противный хурджин»... Хурджин... А ведь этот хурджин был очень похож на тот, с которым приезжает к нему в Тбилиси мать. Он так любит материнские хурджины. Пожалуй, и его мать чем-то похожа на ту женщину с хурджином. Бедная мама, столько повидавшая на своем веку горя!

Нет, не заснуть ему этой ночью! На столике около кровати лежала пачка папирос. Серго, пошарив в темноте, нашел спички и закурил.

Под утро, уже засыпая, он почему-то вспомнил «бриллиантовую» брошку Этери и уже в полусне прошептал: «Почему я ее раньше не замечал?..»

Проснулся Серго, когда солнце заливало своими лучами комнату, а перед раскрытыми окнами качались от ветра ветки белой акации. Подоконник и пол комнаты были усыпаны белыми лепестками и золотистой пылью. Серго осторожно набрал в ладони нежную душистую массу и вдохнул аромат цветов. Вдруг его взгляд упал на сброшенный со стола ветром листок белой бумаги. Это было недописанное письмо к матери. Серго бережно положил письмо на стол и несколько раз перечитал последнюю строчку:

«Думаю, что ты не будешь против, если я женюсь...»

И после некоторого раздумья дописал: «Когда найду себе девушку по душе».

И все. Он теперь постарается с ней не встречаться. Раз он не женится на ней, нечестно продолжать то, что он считал любовью. Но как тяжело на душе! Стоит ли о ней думать? Для чего ему все ее хорошие качества, когда нет главного — человечности. Как он в ней ошибся!

Серго, громко насвистывая, одевался, умылся. Свистеть вовсе не хотелось. Но нельзя же в самом деле раскисать из-за девушки, которая... «Этот противный хурджин...» А ведь он так любит эти хурджины, с которыми к нему приезжает мать. Надо сейчас же отослать письмо. Сколько времени он не писал



матери. А раньше Серго делал это часто. Она, верно, там волнуется. Эх, он тоже хорош! Как будто трудно ему чаще ей писать.

Серго написал адрес на конверте. Взгляд его упал на карточку Этери. И как все было до вчерашнего дня хорошо! Неужели он ее больше не увидит? Она, верно, обиделась на него. Он никогда не был таким с ней, как вчера. Конечно, обиделась, и еще вопрос, простит ли она его. Ну и очень хорошо! Еще лучше. Разойдутся без лишних слов и объяснений.

Серго провел щеткой по волосам... и снова засвистел. В дверь заглянула соседка тетя Варя. Она удивленно сказала:

— Что с тобой? Когда это ты свистел в комнате, да еще рано утром? Иди пить чай.

Серго смутился.

— Сейчас. Вот только брошу в ящик письмо маме.

В окно смотрел яркий весенний день, но на душе у Серго было тяжело. Не радовало решение пойти на концерт, на воскресный футбольный матч, — Серго теперь обязательно пойдет на футбол, раз все кончено. Нет, ничто не радовало. Значит, это все же была любовь? Ну и что же! Пусть даже так, но на такой девушке, как Этери, он не женится. Нет!

Серго взял со стола письмо.

— Серго!

Он выглянул в окно. Под окном стояла Этери.

— Я сейчас, — задыхаясь от волнения, сказал Серго и выскочил из комнаты. Все еще не веря тому, что внизу была Этери, Серго, перепрыгивая через несколько ступенек, сбежал во двор.

Этери пошла ему навстречу. Она была в том же розовом платье. Серго, не зная, как себя с ней держать, молча смотрел на нее. Веки у Этери были красные и припухшие. Она, растерянно улыбаясь, протянула Серго руку. Серго никогда не видел у Этери таких жалких, растерянных глаз.

— Я с таким трудом тебя нашла, — сказала Этери. — Я хотела тебе сказать, что, может быть, ты достанешь билеты на последние концерты смотря.

— Да, но ты же...

Серго поймал растерянный взгляд девушки и торопливо закивал головой. Конечно, он достанет.

Этери посмотрела на конверт, который он держал в руках.

— Это матери, — сказал Серго, — хочу опустить в ящик.

Этери несмело взяла его под руку.

— Пойдем. Это как раз у троллейбусной остановки.

Шли они молча, и Серго искоса поглядывал на Этери. Что-то в ней изменилось. Она никогда не была такой. А где та брошка?.. Он невольно улыбнулся.

Доверчиво припадая к руке Серго, Этери зашептала:

— Ты знаешь, я всю ночь не спала.

В глазах у нее заблестели слезы.

— Так гадко у меня получилось в троллейбусе... с той женщиной. Но я этого не хотела... — Она нахмурилась: — Я терпеть не могу, когда мне делают замечания. Да еще посторонние.

Этери заплакала.

— Я совсем не такая, как ты думаешь.

И вдруг, сорвавшись с места, утирая платком слезы, она побежала к троллейбусу.

— Этери! — Но Этери уже была в вагоне. Троллейбус тронулся.

— Этери! — закричал Серго в окно вагона. — Я зайду вечером за тобой. Пойдем на концерт!

Он помахал конвертом и, перебежав улицу, пошел к почтовому ящику. Опуская письмо в ящик, он подумал:

«Ей еще так мало лет. У нас вся жизнь впереди».

Письмо исчезло в ящике. Серго стало легко, точно вместе с письмом в ящик он сбросил камень, который лежал у него на душе.





# ПЕРВОЗДАННЫЙ ЦВЕТ СЛОВА...

**РАЗГОВОР** о прозе Георгия Шатберашвили мне хочется начать с рассказа «Мамалхинэ». Его герой — конкретный и в то же время общечеловеческий характер. Он общечеловечен по своей внутренней природе, духовному миру, но конкретен в его внешнем проявлении. Имеретинский, гурийский или мегрельский крестьянин совершенно иначе повел бы себя в тех же обстоятельствах, чем карталинец Мамалхинэ. «С затаенной печалью ждал он возвращения сына с фронта», — рассказывает автор. Скрытный старик говорит соседу: «...Только бы мой парень вернулся, я, пускай хоть январь на дворе, приглашу тебя на ртвели, заведу в виноградник, чху<sup>1</sup> подарю...»; и хотя в этой полусхематичной фразе проскальзывают нотки сомнения, Мамалхинэ все же верит, что сын его вернется с фронта победителем. Поэтому «он во время ртвели оставил нетронутыми девять отягченных гроздьями стеблей, уложил все девять в яму, перекрыл обрезками лозы, засыпал комьями земли... Ни единым словом об этом не обмолвился».

Мамалхинэ — личность сложная. Поэтому с целью более полной обрисовки характера типичного грузинского крестьянина писатель создает еще два рассказа — «Сын Мамалхинэ» и «Смерть Мамалхинэ», которые составили своеобразную миниатюрную трилогию, объединенную общей идеей.

Хотя второй рассказ и называется «Сын Мамалхинэ», в центре внимания и на этот раз остается образ отца. Мамалхинэ из тех грузинских крестьян, которые живут стихией родного языка, дышат им, обогащают его и передают любовь к нему из поколения в поколение. Одно их слово или фраза множат очарование и красоту родного языка. Георгий Шатберашвили сам принадлежал к числу таких беззаветных служителей грузинского слова. Он говорит о своем герое: «Мой Мамалхинэ... Как давно я не записывал его высказываний в книгу, которую в шутку назвал «Тваладурским лексиконом». Глубок и поразителен его грузинский язык, он заставляет задуматься... Мамалхинэ превратил меня в археолога языка. Скажет слово, и оно начинает меня преследовать, зовет к себе, заставляет приняться за раскопки... Что это за слово, что оно означает? Где и от кого он его услышал?.. И я вынужден перелистывать увесистые тома толковых словарей, сверять, сравнивать, ворошить вековую пыль, возвращать слову его первозданный цвет...».

В некотором роде Мамалхинэ идеальный образ мудрого красноречивого крестьянина. Он — честный труженик и хочет, чтобы сын был подобен ему. В шутку отец называет его «побегом лозы». С чувством гордости смотрит он на сына, сидящего за рулем комбайна, ибо осуждает лень и всяческую праздность. Вспомним хотя бы эпизод, где Мамалхинэ выставляет на посмешище верхопряха-председателя, который в разгар жатвы «шляется» на перепелиной охоте.

Этот «цикл» завершает рассказ «Смерть Мамалхинэ». Подзаголовком к нему — «Памяти Сандро Квливидзе» — писатель дал понять, что у Мамалхинэ был прототип — реальная личность, знакомый и близкий автору человек, образ которого выписан им с таким мастерством и любовью. Рассказ начинается так: «Кто не умирает? Умер под конец и Мамалхинэ». Отчего? Как? Жертвой какой

<sup>1</sup> Отрезанная ветвь виноградной лозы с побегами и гроздьями.

болезни стал этот крепкий человек? Г. Шатберашвили счел излишним излагать подробности. Лишь одной короткой фразой сообщил он о кончине своего любимого героя. Лаконичная манера повествования вообще характерна для прозы Г. Шатберашвили. Он избегает многословия, придавая большое значение стилю слова и фразы.

В «Смерти Мамалхинэ» выявлены новые черты характера героя. Писатель, как и во многих других своих произведениях, обращается здесь к проблеме бессмертия. Стремление к вечности не есть удел лишь избранных, наделенных каким-либо особым даром. Мамалхинэ тоже верит в бессмертие. Он завещает: «Здесь же, в моем дворе, у миндалей захороните меня; живой я был столпом семейного очага, мертвый сторожем буду его».

В этих трех рассказах Г. Шатберашвили раскрыл мир грузинского крестьянина: доброту его натуры, молодецкую силу, мировоззрение, чувство родного языка, любовь к родной земле, стремление к бессмертию.

К нему стремится и дед Тедо из рассказа «Бессмертие». Он умирает восьмидесяти с лишним лет со светлым сознанием того, что его жизнь продолжится в жизни потомков. ...Умолкшего навеки Тедо переодевали в выходное платье. И вдруг что-то выпало из кармана его рубахи и со стуком рассыпалось по полу. «Такой человек не умрет, нет!» — воскликнула невестка Тедо — Саломэ, подбывая с пола косточки персика, отобранные стариком на семена. Он знал, что не увидит ростков посеянного им, но ему была ненавистна поговорка: «После меня — хоть потоп!» Он думал о будущем. «Дед Тедо улыбался. Он лежал в новой одежде и, казалось, спал и видел в сладком сне цветущие персиковые деревья».

Гимном пробуждению весны и неясным ощущениям юного сердца, в котором зародилась любовь, звучит рассказ «Зов леса». Его логическим продолжением является трагичная история, описанная в «Немой воде». Несмотря на мрачные краски, которыми писатель рисует неудавшуюся семейную жизнь героини, он привлекает нас своим обнадеживающим финалом, где с особой силой звучит мотив вечного обновления жизни.

Ему посвящен и рассказ «Бессмертный корень».

«...Буря не смогла полностью уничтожить жизнь. Несокрушима сила жизни. Спасшийся вчера от садового ножа гордый побег, выросший на бессмертном корне, вновь стоял неведомый, играя с утренним ветерком, радуясь лучам восходящего солнца...»

В этих словах сконцентрирована идея произведения, позволяющая судить о концепции писателя, которому удалось по-новому взглянуть на старую, но вечно новую проблему жизни и смерти.

В рассмотренных выше рассказах получила отображение пора Великой Отечественной войны. Но показана она в них в свете жизни и переживаний людей, оставшихся в тылу. Основная тема этих рассказов — неиссякаемая энергия и творческий потенциал жителей грузинской деревни, их патриотизм, чувство благодарности к тем, кто ушел на битву с врагом.

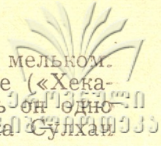
...Деревня обновила ветхий дом старой Самдзимаре. Ее сын Тато — на фронте. Мать хранила для него полный квеври вина. Она дала обет открыть его только после возвращения сына домой. Но надо было отблагодарить мастера, отремонтировавшего дом, и, несмотря на все просьбы не трогать квеври, Самдзимаре открывает его и угощает всех соседей. В этот момент появляется Тато. Он приехал домой из госпиталя в шестимесячный отпуск. Изумленный мастер спрашивает у Самдзимаре, не ждала ли она сына, когда открывала квеври, не знала ли о его возвращении?

Счастливая мать с любовью посмотрела на сына, улыбнулась, глядя на новую крышу, и воскликнула: «А то как же... а то как же, знала... сердце мое знало, чуяло» («Посвященный квеври»).

А вот другой рассказ — «Тезка Георгия Девсурашвили». Почтальон Махарэ несет в семью своего друга Дата Девсурашвили похоронную. Ночь. Из дома Дата слышатся веселые голоса. Махарэ заглянул в окно и опешил: за пиршественным столом сидел сын Дата Девсурашвили — Георгий, тот самый, извещение о смерти которого находилось в кармане Махарэ...

Здесь, как в «Бессмертном корне» и «Посвященном квеври», использован прием неожиданности, носящий, по нашему мнению, несколько искусственный характер. Почему именно в ночь, когда было получено извещение о гибели Арчила, буря повалила дерево, на корне которого оставался один побег, и именно в ту ночь у погибшего отца родился сын?! Или почему возвращение Тато совпало с днем, когда старая Самдзимаре открыла посвященный ему квеври?!

Но главное, конечно, не в этом. В искусстве, в частности в художественной литературе, всегда допустима определенная доля условности, помогающая глубже раскрыть идею произведения, четче обрисовать образы.



В ряде произведений Г. Шатберашвили о войне говорится лишь мельком. Так, у счетовода Гига большой палец правой руки оторвало на войне («Хека-ла»); «...пяты лет ждала Эка ушедшего на фронт Гагну, теперь пусть он одно лето подождет, ничего не случится» («Перед венчанием»); «...дедушка Сулхан давным-давно своих дочерей замуж выдал, давным-давно жену свою похоронил, которую извела печаль по сыну, погибшему в Отечественную войну» («Золотая десница»). И только в рассказе «Девятая лестница» писатель заставляет нас пережить ужасы войны, увидеть их глазами непосредственного участника. Галерей убедительных художественных образов он сумел показать несгибаемую волю народа, его патриотический дух.

Прозу Г. Шатберашвили характеризует тематическое разнообразие. Им создано не одно интересное произведение для юношества. Пространный рассказ-очерк «Сатаплиа» не только расширяет умственный горизонт молодого читателя, но и пробуждает его любознательность, интерес к изучению географии, геологии и других отраслей науки, знакомит его с миром животных и растений.

Познавательен и рассказ «У истоков Курь», в котором чувствуется благотворное влияние «Мышеловки» Важа Пшавела.

В детских рассказах Георгий Шатберашвили мастерски рисует своих персонажей, которые увлекают юного читателя, а потому и запоминаются. Таковы и два неразлучных друга — двоюродные братья Нико и Сико, о которых автор говорит так: «В эту минуту, кто бы ни увидел нахохлившись на балконе Нико и Сико, навеки запомнил бы их вытянувшиеся шеи, раскрасневшиеся лица и горящие злостью глаза».

К жанру сказки принадлежат «Черные пуговицы» — история любви и смерти Барам Гурджи и дочери Бега. Создана она, видимо, на основе месхетской легенды. Идейный замысел произведения объединяет два мотива: патриотизм и любовь. Барам Гурджи — бродячий певец, юноша, борющийся со змеями, пришедший из окрестностей Мцхета — возвращает веру перешедшим в мусульманство жителям Месхетии — Южной Грузии, завоеванной турками. «Его чарующие песни пробуждали в сердцах отуреченных грузин мечту о матери-Грузии».

И наконец — «Солнце мертвых». Эта повесть поистине венчает прозу Г. Шатберашвили, как «Хроника весенней ночи» — его поэзию. Более того, «Солнце мертвых» — одно из лучших произведений современной грузинской прозы. Это глубокое философское раздумье над сущностью жизни и смерти, горением человеческой энергии, творческим соревнованием, любовью, как вечно обновляющей силой жизни, воплощенное в самобытной художественной форме. Повесть многопланова, композиционно сложна. Использование приемов сказа, символика и аллегоричность. богатство языка придают ей особое очарование.

Повесть «Солнце мертвых» вызвала широкий интерес у читателей и критики. Она стала предметом специальных статей и исследований. Внимание их авторов в основном было сосредоточено на идейно-философской стороне произведения. И мне тоже хочется высказать некоторые соображения относительно его идейного замысла.

Каждый человек наделен жизненной энергией и творческой способностью (одни в большей, другие в меньшей степени). Необходимо использовать и эту энергию так, чтобы в ходе всей жизни исчерпать все свои возможности. Иные тратят эту энергию медленно, по частям, другие сразу. Возможно ли осуществление мечты, если щадить свои силы, — говорит герой повести Георгий Кобаидзе своему двойнику. Но сбережение сбережению рознь. Можно и щадить свои силы. Главное же — своевременно использовать сбереженное. Разве бессмертие возможно лишь тогда, когда ты разом растратишь энергию? Чем, к примеру, лучше вдруг вспыхнувший и погасший огонь ракеты долго не утихающего яркого пламени? Если бы все, достигнув зенита своих жизненных сил и творческой энергии, разом их растрчивали, весь жизненный процесс, его вечное обновление и возрождение зашли бы в тупик. И являются ли в этом отношении Хизамбарели и Тенго Кобаидзе теми героями, которые приемлемы для нас сейчас? Пожалуй, нет...

Нельзя не сказать также и о художественных достоинствах «Солнца мертвых» — о сложной и многоплановой композиции произведения, его богатой художественно-языковой ткани, точно выписанных эпизодах и картинах, дающих пищу для размышления.

Вспомним хотя бы сцену победы Хизамбарели из экспозиционной части повести: «Хизамбарели изогнулся, подлез плечом под глыбу и, подняв камень над головой, последним мощным рывком перебросил через спину оседланной лошади. Лошадь вгнула спину, словно почувствовал по движению воздуха, что над ней пролетело что-то очень тяжелое...».

Писатель вдохнул жизнь в историю столетней давности, успевшей стать легендой, сделал ее как бы физически ощутимой.

Таким же реальным представляется нам и спор Георгия со «злым Георгием».

В реальном аспекте переживаются и представляются видения, являющиеся Георгию во сне или в мыслях, воскрешающие перед мысленным взором умирающего всю его прошлую жизнь. Старик кладет на весы каждый сделанный им в жизни шаг.

В лирико-драматический настрой повести хорошо вписывается эпизод, который можно назвать лирическим интермеццо: это — мысленная беседа автора со своими героями: «Давно уже минула полночь. В комнате холодно. Радиатор остыл... Меня знобит, колени мерзнут, и все же я думаю о вас — Тенго и безвестный Хизамбарели.

...Я ищу слова и стараюсь оживить вас. И, как и вы, вступаю в схватку со словом... Вдруг этот «камень состязания» одолеет и меня...»

Такого рода аналогией автор придает идейному замыслу повести большую убедительность, аллегоричность, вносит в нее символику, придающую особую глубину всему повествованию.

Искусство

Лиана ТАТИШВИЛИ

## ДОБРАЯ КИСТЬ ХУДОЖНИЦЫ

Утверждают, что детская память — самая верная. Она вбирает в себя главное, то, что не забывается и проносится через всю жизнь. Это первое, о чем подумалось на недавней выставке работ художницы Элисо Александровны Макашвили в Тбилиском Доме работников искусств. И вот почему: «Развалины Икалто» — пейзаж в акварели — запечатленные развалины древнего городища, у которых девочкой она любила сидеть с неизменным листом белой бумаги в руках. Икалто — серые камни, высушенная солнцем желто-зеленая трава и всегда выцветшее небо.

Так запомнился цвет. Позднее, уже зрелым художником, она сумела передать красочность этого кажущегося разнообразия цветов. «Монастырь Джвари», «Хевсуретия», кахетинские, имеретинские, карталинские пейзажи, собранные воедино, — это панорама родной страны,

которую Элисо Макашвили хорошо знает и горячо любит. И в каждой из этих работ чувствуется строгая гармоничность икалтойской земли и ее хранителя — человека. Быть может, такого, как старик («Портрет старика») с грустным, задумчивым взглядом — образ живой и цельный, как природа Икалто. Или такового, как сталевар («Сталевар»), покоряющий огонь. Или как другие наши современники — писатели, актеры, ученые, спортсмены. Каждый из созданных художницей образов сугубо индивидуален, а печать задумчивости, которая характеризует их, это не что иное, как внимательное, вдумчивое отношение художника к миру.

Мастерство подразумевает и опыт. Он приходит с годами, освещая картины новым, порой неожиданным светом. Школа живописца Г. Габашвили, графиков Е. Лансере и О. Шарлема-

на, долгие путешествия по Грузии, встречи с людьми самых различных профессий постепенно обостряли этот опыт. В 1927 году об Элисо Макашвили, тогда еще студентке, писали как о художнице, «проявившей яркую индивидуальность и искренность рисунка».

Много воды утекло с той поры. Без малого полвека работает Элисо Макашвили, создавая художественную летопись наших дней. Она — непременный участник всех традиционных тематических выставок. Работы художницы, выполненные в светлой реалистической манере, неизменно привлекают внимание.

Богата творческая биография Элисо Макашвили: живопись, графика, мультипликация... Все это органически переплетается в ее творчестве, отражающем наш сегодняшний день, берущем свое начало у первозданной красоты величественного Икалто.

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

**С**УДЬБА писателя в драматургии складывается по-разному. Иногда он напишет несколько пьес, но в оценках литературной критики по-прежнему именуется лишь прозаиком, беллетристом. Иногда же только одна пьеса приносит автору славу истинного драматурга.

С Михаилом Мревлишвили случилось именно так: первой своей пьесой «Николоз Бараташвили» он заявил о том, что в грузинской литературе родился настоящий драматург.

Жанр историко-биографической пьесы имеет свою жесткую специфику и сложившиеся традиции. Драматическое произведение биографического жанра, как правило, представляет собой сценическую иллюстрацию жизни героя и ставит целью инсценировать исторические факты, умещенные в определенные хронологические рамки. Все эти условия никак не могли быть приняты в пьесе о Бараташвили. Во-первых, не позволяла скудость биографического материала о великом поэте, а во-вторых, его жизнь внешне ничем не примечательна. Поэтому никакие биографические детали не могли раскрыть величия Бараташвили, его возвышенного внутреннего мира, тайн благородной души гениального поэта.

Михаил Мревлишвили прибег к оригинальному решению: в основу пьесы он положил творчество Бараташвили; осмыслив и связав воедино мотивы, темы, образы и лирического героя его поэзии с канвой жизни их творца, он создал драматургическое произведение, отмеченное печатью новизны и оригинальности. Оно правдиво и впечатляюще рисует трагедию жизни и светлую личность поэта, творившего в мрачайших социально-политических условиях, не только сломивших ему крылья на взлете, но предопределивших безвременную кончину гения грузинского романтизма.

Не поддавшись соблазну «занимательности» сюжета, драматург базировался на духовном мире, общественных, гражданских идеалах и устремлениях Бараташвили, выраженных в его важнейших произведениях. Он остановился на одном кратком, внешне относительно спокойном. Но насыщенном в смысле общественных событий и творческой интенсивности периоде жизни поэта.

Хронологически — это конец тридцатых и начало сороковых годов XIX века, когда, несмотря на жесточайший национальный и социальный гнет самодержавия, передовые представители грузинской общественности осознали необходимость присоединения Грузии к России, и этот исторический факт стал в центре внимания общественной жизни страны.

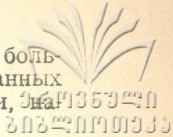
Чтобы передать дух эпохи и отразить исторический фон, драматург избрал самый правильный путь: он показал две России и две Грузии. С одной стороны, изобразил черносотенных реакционеров Ильинских и Дадзиани, которые представляли собой мрачную эпоху Николая I, с другой — проникнутых революционно-демократическим духом, ненавидящих самодержавно-крепостнический строй Бараташвили и Балашовых. Несмотря на национальные различия, в едином строю пламенно борются они против мракобесия...

Идейно-сюжетный костяк пьесы составляет напряженный конфликт между Бараташвили и душевной атмосферой той действительности, в которой задохнулись

# ДОРОГОЙ ПРАВДЫ

●  
**ЗАМЕТКИ О ДРАМАТУРГИИ  
МИХАИЛА МРЕВЛИШВИЛИ**  
●

передовые умы всех народов, входивших в Российскую империю. Автор с большой убедительностью, художественным тактом в четко индивидуализированных образах дал возможность увидеть и почувствовать трагедию Бараташвили, напряженные духовные коллизии его жизни.



Вытекающие из этого основного конфликта, обусловленного неприятием существующей действительности, трагические переживания поэта усугубляются еще и безответной любовью к Екатерине Чавчавадзе. Высокое положение и другие внешние атрибуты генерала Дадиани привлекают ее куда больше, чем большое и волнующее чувство поэта. В этом выборе — тоже проявление духа эпохи, когда благородные устремления, светлые идеалы, возвышенные чувства и цели терпят поражение. Таким образом, драматург превратил биографическую деталь в выразительный штрих общественной жизни и путем обобщения довел личную драму до конкретно-художественного факта, отражающего эпоху.

Михаил Мревлишвили вывел много типичных, живых образов и колоритных характеров. Сам Бараташвили в трактовке автора — робкий, застенчивый молодой человек, наделенный могучей творческой силой и богатым воображением. Уже в этом заложено начало внутреннего разлада между натурой поэта и его гениальностью. Глубокое проникновение писателя во внутренний мир творца, складывавшийся в ту мрачную эпоху, помогло драматургу сполна раскрыть весь трагизм этой поэтической судьбы.

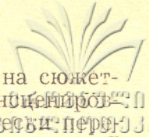
Выведенные драматургом характеры в большинстве случаев определены в своей принадлежности к конкретной социальной группе и несут типичнейшие черты того или иного класса или общественного слоя, со всеми историческими поворотами их судеб: Мелитон Бараташвили — характерный представитель реакционного грузинского дворянства, мечтающий о реставрации грузинской монархии и отмеряющий все с позиций своих классовых интересов; старый крестьянин Ростом, отец няньки поэта, своей благородной натурой олицетворяет лучшие черты простого грузинского народа; декабрист Владимир Балашов принадлежит к передовой русской интеллигенции, устремленной в своих идеалах к лучшему будущему не только своего, но и всех народов, а противопоставленные ему верные приспешники самодержавно-полицейского режима — злобные и коварные Ильинский и Федоров — типичные представители реакционной проправительственной камарилы.

В пьесе много полных напряженного драматизма и глубокой символики обобщающих ситуаций, которые еще более рельефно очерчивают реальную обстановку и трагизм положения поэта. Индивидуализация характеров, правдивое изображение сценических положений сполна выявляют драматургическое мастерство автора, его талант и эрудицию, необходимую для создания исторической драмы.

Поэтичность и лиризм, богатство воображения и романтическая приподнятость, так же как и прекрасный язык, блестяще построенный диалог, наряду с глубоким подтекстом, делают это произведение значительным явлением грузинской драматургии. Правда, некоторые его недостатки отмечались литературной критикой (увлечение романтическо-интимной стороной, многopersонажность, схематичность отдельных образов), но они не снижают значения пьесы «Николоз Бараташвили» для грузинской драматургии.

Вторым драматургическим произведением Михаила Мревлишвили был «Очаг Харатели». Если первая пьеса построена на историческом материале, то вторая его драма тесно увязана с актуальной проблематикой современности и правдивым показом новых советских людей. В этой интересной пьесе раскрылась способность автора увидеть в жизни новое и поддержать это новое, проявилось прекрасное знание современности и твердая вера в неисчерпаемые возможности советского человека.

В этой предельно современной и своевременной, глубоко реалистичной и психологической пьесе продолжены и развиты принципы, которые заложены в пьесе «Бараташвили», а именно те, которые обуславливают создание серьезного, напряженно драматического произведения. Эта пьеса сыграла большую роль в развитии грузинской драмы 40—50-х годов. «Очаг Харатели» подтвердил мысль о том, что процессы, происходящие в современной колхозной деревне, все ее сложные конфликты могут служить основой для написания истинной драмы, а не только для использования внешних коллизий при создании комических ситуаций, что имело место в ту пору в грузинской драматургии и порождало жанровое и композиционное однообразие. М. Мревлишвили показал, что на этом материале можно создавать проблемные, глубоко психологические, полные большой страстности, конфликтные драматургические произведения, и в этом заслуга писателя; с появлением этой пьесы значительно возрос удельный вес серьезной драмы на грузинской сцене, утвердив этот жанр в послевоенной грузинской драматургии.



«Очаг Харатели» — драматургическое произведение, построенное на сюжетной канве одноименного рассказа того же автора. Но это не просто инсценировка. Материал, использованный для эпической формы, писатель органически переработал, придал беллетристическим образам драматургическое соответствие. С учетом законов и требований жанра и сцены им отобраны в первоисточнике основные ситуации и конфликты; перенеся их в драму, он придал большую очерченность и напряженность характерам и сценическим положениям. В необходимых случаях автор изменил и последовательность эпизодов, их композицию и характер. Взять хотя бы образ Георгия Харатели. Если в рассказе этот характер обрисован чисто эпическими приемами, то для пьесы был написан специальный эпизод, показывающий образ в соответствии с требованиями драматургического жанра: здесь учтен и сценический эффект, и отличающие драму лаконизм и действие. Такое же преобразование претерпел и целый ряд других эпизодов рассказа (например, уход на молитву, встреча Нато и Акмиа, донос Торнике на Нато и другие). Драматургическую трансформацию испытали и другие образы: Нато и Зуриа Харатели, Акмиа Хуцураули, Аитуза, Шалва, Торнике и т. д. Они стали более целеустремленными, динамичными, выпуклыми; эпическое спокойствие сменилось активным сценическим действием.

Построенный на определенном тематическом локале сюжет не мешает автору в рамках одной пьесы откликнуться на несколько актуальных проблем и дать художественное решение злободневных вопросов современности. Драмой «Очаг Харатели» Михаил Мревлишвили утверждает, что замыкание в узкой семейной обстановке, слепое следование традициям, даже тогда, когда они как бы и «совмещаются» с общественной деятельностью современного советского человека, оборачиваются для него мучительным наказанием. На конкретном художественном примере пьеса раскрывает животворную преобразующую силу советской действительности, коллективного ведения хозяйства, величайшую способность к возрождению, заложенную в самой основе нашего образа жизни. Во весь голос звучат здесь и проблемы советского гуманизма, силы коллективизма, высокого гражданского и патриотического долга советского труженика.

С большой глубиной, художественностью и правдивостью пьеса показывает полнокровную жизнь колхозной деревни, вдохновенный труд, непоколебимую веру и оптимизм народа.

Выводя на сцену представителей трех разных поколений семьи Харатели, автор как бы воссоздает перед зрителем новейшую историю грузинского крестьянства. Патриархальный дед Торнике, находящийся в плену мелкобуржуазно-инстинктов; активный колхозник, во многом разделяющий современные взгляды, но еще не сумевший до конца порвать со старым отец Зуриа и, наконец, совершенно новый человек, олицетворение всех черт советской молодежи, сын Георгий. Эти три образа — воплощение той эволюции, которую испытали на протяжении последнего полувека грузинская деревня и грузинское крестьянство. В их совместной жизни — вся сущность этой эволюции. Такая художественная задача, решенная драматургическими приемами, придает драме больший колорит и четко очерченную контрастность.

Центральными характерами являются Зуриа Харатели и его невестка Нато. Основной смысловой костяк пьесы и главную пружину действия составляет конфликт между находящимся в плену традиций Зуриа и молодой, стремящейся к новой жизни, вдохновленной новыми идеалами женщиной.

Нато и раньше критически относилась к замкнутости и патриархальности семьи Харатели, но ее скептическое отношение к установленному родителям мужа семейному укладу не перерастало в активный протест, а более походило на сдержанное, скрытое внутреннее противодействие. Смерть ребенка еще более притупила ее способность к сопротивлению, сделала еще более пассивной. Кто знает, как бы сложилась судьба Нато, если бы коллектив, люди, к которым она была привязана, не протянули ей руку и не вовлекли снова в жизнь.

Акмиа Хуцураули, умный, чуткий и опытный руководитель колхоза, вывел Нато из удушающего плена ограниченного семейного мирка, сумев направить ее энергию, способности и усердие на благо общего дела. Забота и поддержка односельчан вывели Нато Харатели из состояния застоя, вовлекли ее в полезный труд, вернули находившуюся на краю пропасти женщину к жизни. Внутреннее преобразование Нато раскрыто с большой психологической убедительностью; на ней как бы проверялась та организирующая и преобразующая сила коллектива, та жизнеутверждающая и стимулирующая способность, которая заключена в свободном, целенаправленном труде.

В лице Зуриа Харатели драматург создал колоритный, резко очерченный, впечатляющий характер.

Ни в одном его жесте, ни в одном действии и решении нет произвола автора, им движет «своя» внутренняя логика и «свое» отношение к явлениям.



Он абсолютно правдив и естествен. Ни эпизодичность, ни фрагментарная очерченность этого образа не помешали драматургу придать ему идейную завершенность и выпуклость. Правда, они не предстают перед зрителем в полном развороте своих чувств и действий, но то, ради чего он присутствует в пьесе, идея, которую он в себе несет, реализована сполна. В этом и заключается драматургическое осмысление характеров, введение в пьесу действующих лиц, предназначенных как бы для антуража, а по существу увязывающих воедино сюжет, идею и ее сценическое воплощение.

Постановка «Очага Харатели» была высоко оценена театральной критикой; она вызвала интерес зрителей и много лет подряд с неослабевающим успехом шагала по сценам советских театров.

Пьеса Михаила Мрвлишвили «Лавина» признана значительным достижением послевоенной грузинской драматургии.

Все черты, присущие его творчеству, здесь получили свое наивысшее выражение: в ней и идейно-смысловая напряженность, обобщенность и своевременность, поэтическая осмысленность фактов и явлений, богатейшая эмоциональная палитра, пластичность образов, яркий национальный колорит, живые и впечатляющие образы, правдивые, проникнутые истинной народностью характеры, ясная и образная система мышления.

В манере письма Мрвлишвили — золотые россыпи и несметные богатства грузинского языка, его гибкость и твердость. Стихия писателя — наполненные драматизмом коллизии. Он стремится к углубленной психологической характеристике, резкому столкновению мыслей, переживаний, стремлений.

В «Лавине» мы встречаемся с романтическим началом в подходе к материалу, причем романтизация фактов отмерена с той точной мерой истинного вкуса, которая присуща большому мастеру и которой обладает М. Мрвлишвили. Романтическая тональность пьесы не только не исключает реалистичности, а, наоборот, делает ее еще более подчеркнутой — никаких штрихов и деталей, затумавивающих истинный смысл событий современности, ни одного фальшивого звука или стремления приукрасить действительность, ни одного движения в сторону натуралистических описаний, ни на йоту не перейдена грань романтизации, за которой возникла ложная патетика. Но даже в самом обыденном, в простых бытовых деталях проступает перспектива будущего и та приподнятость, без которой немислимо настоящее искусство.

«Лавина» не ограничена рамками одной обособленной темы. Эта пьеса отличается идейно-тематической многоплановостью. В ней автор обнажил порочность многих явлений, уходящих своими корнями в далекое прошлое: эгоизм, индивидуализм, корыстолюбие. Здесь же он показал создателей колхозных богатств — советских людей с новой моралью, большим гражданским самосознанием, с широкими общественными идеалами, с новым отношением к труду и общественному добру.

Действующие лица в подавляющем большинстве выполнены рельефно, яркими художественными мазками и выглядят полнокровными, живыми людьми. Реалистический, естественный, многокрасочный типаж свидетельствует о художественном чутье и остром глазе драматурга.

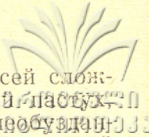
«Лавина» привлекает и своей сценичностью. Глубокий психологизм отнюдь не в ущерб ее динамичности, а нарастание действия вплоть до самого финала усиливает драматическое звучание и эмоциональное воздействие.

У «Лавины» сложный и интересный подтекст, который не только подчеркивает сценичность произведения, но и создает то «подводное течение», которое ее только обогащает.

Напряженный конфликт пьесы основан на реальных событиях, имевших место в 50-е годы в нашем сельском хозяйстве и проявившихся в преступной безответственности некоторых горе-руководителей колхоза. Эти жизненные факты драматург увязал с глубоко человеческими заботами и проблемами, подняв их до уровня серьезных обобщений, естественно и логично вылившихся в художественный показ борьбы нового со старым.

Конкретную реализацию конфликт «Лавины» находит в столкновении, с одной стороны, между заведующим фермой Тинибегом Утургаули, его сыном бригадиром Гега и, с другой стороны, положительными персонажами, олицетворяющими настоящих советских людей и представляющих ту могучую силу, которая своей сплоченностью и коллективизмом способна противостоять всем пронкам дельцов и преступников.

Сюжетная линия, связанная с Тинибегом, подана в трагических тонах, и это несомненно оправдано: человек, отколовшийся от коллектива, который предпочел личное благополучие общественным интересам, обязательно придет к трагическому финалу — таков естественный приговор в условиях нашей действительности. Эту серьезную проблему драматург решил, выведя на сцену живых, конкретных людей и поместив их в самые жизненные, реальные ситуации.



Образы эти обрисованы с тонкой психологической нюансировкой, во всей сложности характеров. Тинибег не просто ограниченный и невежественный, злой и коварный по натуре человек. Это характер больших страстей, неуемных желаний, хитрый и прозорливый, но с лукавой и грязной душой, полной вероломных замыслов. Это одержимый крайним эгоизмом и честолюбием ма-ньяк, который во имя достижения личных целей готов отказаться от всего, даже поступиться собственным сыном.

Психологической сложностью характеризуется и образ сына Тинибега — Гега. Автор показал его скупыми, но выразительными штрихами. И этот драматизированный характер поднят до глубоких обобщений: трагическая судьба Гега показывает, что в нашей действительности, в любви, как и в общественной жизни, побеждает только достойный, что сегодня в любви куда важнее гражданская полноценность, чем внешняя привлекательность.

Безграничный индивидуализм, необузданная страсть, пренебрежение общественными принципами и в основе всех поступков одно только личное желание привели к тому, что подсказанный коварным Тинибегом ошибочный шаг погубил Гега Утургаули.

Возбужденною страстью, неуравновешенного молодого горца, с ничтожным гражданским самосознанием, движимого слепым чувством, любовь сталкивает в пропасть, вместо того чтобы повести по пути к счастью.

Сделав Гега орудием своих черных замыслов и тонко сплетенных интриг, Тинибег в конечном счете обманул. Обрушенная им лавина поглотила не его врага Амирана Раннаули, а собственного сына Гега.

Роковая любовь Гега к молодой учительнице Леле наталкивается на большую женскую гордость, которая мешает ей ответить на чувство человека без всяких гражданских принципов, без определенного места и положения в жизни, без всяких достоинств, которые могли бы вызвать к нему уважение, хотя в глубине ее души вызревает чувство, которому она не дает проявиться и подавляет в себе.

В пьесе параллельно развиваются две композиционные линии: показ антиобщественных действий Тинибега и изображение романтических отношений Гега и Лелы. Они переплетены в такой добротной и искусной драматургической форме, что с самого же начала исключают возможность фрагментарного и иллюстративного раскрытия идеи, раздвоения сюжета. Драматург создал ладно скроенное, композиционно цельное произведение. И во многом своей законченностью и целостностью пьеса обязана еще одному очень интересному, своеобразному и колоритному характеру, органически связывающему две сюжетные линии, — это образ жены Тинибега, матери Гега, Сабедо Утургаули. Традиционное, перешедшее по наследству от старых поколений чувство слепого подчинения мужчине борется в ней с потребностью быть равноправным членом общества. И никакие несчастья не смогли подавить в ней человечности, внутреннего тепла, затоптать ее добродетели.


Дорогой ценой заплатила труженица Сабедо за свою покорность мужу, поздно разглядела она коварную сущность его натуры, не сумела вовремя встать против зла и тем обрекла на гибель и себя, и сына.

Один из самых ярких и незабываемых образов в пьесе — это старый Онисе Турманаули, преисполненный искренности, безыскусной простоты, большого человеческого тепла.

Онисе как бы является еще одним подтверждением мысли автора о том, что свободный труд, творческая инициатива, забота о народном достоинстве, как о своем личном, превратились в первейшую внутреннюю потребность советского человека. Когда Онисе овладела забота о новой породе овец, выведенной его сыном, им руководит не стремление еще раз прославить погибшего на войне сына, а благородное гражданское чувство. В пьесе резко и жестко развенчаны лицемерие, подхалимство проныр.

Эта пьеса, как и большинство сочинений М. Мрвлишвили, выделяется добротной языковой тканью, красочным, сочным и живым грузинским языком.

Подлинный интерес к проблемам современности в его творчестве развивается параллельно со стремлением к художественному отображению исторического прошлого. В драматургической практике писателя постоянно соседствуют произведения, посвященные современности и историческому прошлому. За «Бараташвили» последовал «Очаг Харатели», за «Лавиной» — пьеса историко-биографического жанра «Пламенный мечтатель», написанная в 1957—1958 годах. Переведенная в том же году на русский язык, она была поставлена в Тбилиском государственном русском драматическом театре имени Грибоедова.



«Пламенный мечтатель» — пьеса, посвященная жизни великого русского писателя, одного из родоначальников русского реализма, основоположника оригинальной национальной драматургии — А. С. Грибоедова. Опыт, приобретенный в период работы над «Бараташвили», и глубинное изучение той эпохи, в которую жили эти великие представители грузинского и русского народов, обусловили правильную историческую перспективу новой пьесы, убедительный показ социальной обстановки, колоритное изображение духа эпохи, глубокое проникновение в прошлое и впечатляющее отражение хорошо подмеченных реалистических деталей.

Это произведение значительно более документально, исторично и биографично, чем «Бараташвили». Но обилие достоверных исторических фактов не снизило возвышенной поэтизации материала. В результате эта пьеса, несмотря на документальную точность, не менее поэтична, чем «Бараташвили», где разбег авторской фантазии и доля вымысла куда шире, чем в «Пламенном мечтателе», когда автор был более ограничен историко-биографическими фактами. И это не потому, что жизнь Грибоедова дает больший размах для художественного изображения, для интересного повествования и драматических ситуаций. Художественность здесь прежде всего результат точно нацеленного проникновения в характер главного действующего лица и эпохи, в которую он жил и творил. Остается впечатление, что драматург непосредственно пережил все, что в результате составило материал для его пьесы, так же как представлялась близкой и пережитой им эпоха Бараташвили.

Решению этой сложной творческой задачи способствовало умение драматурга очень точно увидеть основные движущие силы эпохи и осмыслить главную задачу того времени.

Сюжет пьесы связан с самым прогрессивным для того времени — декабристским движением. Этот важнейший социально-политический факт русской истории, положивший начало освободительному движению в России, в пьесе стал центральным идейным стержнем, обусловившим общественно-политический профиль главного героя и идейное звучание произведения. Эта идейная целеустремленность позволяет автору провести черту между главными и второстепенными событиями, рубез, без которого включенные в пьесу исторические факты и детали остались бы сырым, необработанным нагромождением материала, поскольку, приравнивая незначительное к первостепенному, можно и исказить образ, и раздробить сюжет, и нарушить ритм и композиционную целостность.

Декабристское движение — самое прогрессивное явление века — использовано в пьесе не только как эталон оценки исторической эпохи, но и как основное средство для глубокого и законченного рисунка образа Грибоедова. Тем не менее это не единственный нерв произведения. Декабризм, как первая волна освободительного движения русского народа, в подтексте неразрывно связывается с духом освобождения грузинского народа от национального и социального гнета, то есть с проблемой взаимоотношений Грузии и России, которая так правильно решена в пьесе.

Перипетии жизни Грибоедова потребовали показа политических отношений Персии с Россией. Все это обусловило в пьесе широкую арену действия, частую контрастную смену событий и своеобразие композиции. Действие протекает то в Грузии, то в Петербурге, то в Персии... И каждая такая ситуация и фрагмент, объединенные деятельностью главного героя, в конечном счете дают связанные воедино эпизоды, во всей полноте представляющие характер Грибоедова, его облик как политического деятеля и дипломата, как поэта и борца, как возлюбленного и друга.

В заслугу драматургу следует поставить многочисленный и многокрасочный типаж, отличающийся социально-классовой принадлежностью и общественно-политическими идеалами. Действующими лицами выведены представители разных наций — грузины, русские, персы и др.

Грибоедов, каким он выведен в пьесе, правдив и убедителен. Это — олицетворение передовой мысли эпохи, уже пришедшей к тому, что существующая действительность без радикальной ломки и преобразований не создает условий для народного прогресса и счастья людей. Но вместе с тем существует и осознанность того, что исторические условия еще не созрели для полного преобразования действительности. Отсюда — и заведомая обреченность, и тот элемент скрытого внутреннего трагизма, который присутствует в драме М. Мрвлишвили и который вообще неизбежен для тех великих людей, чьи личные качества и мышление дали им возможность обогнать современность и в своей гениальной дальновидности предвидеть то будущее, приблизить которое эти прозорливые люди, к сожалению, не могли. Именно этот момент и сблизжает Грибоедова из драмы М. Мрвлишвили с Чацким; думается, такая аналогия — продуманный штрих художественной увязки жизни Грибоедова с его творчеством. С

устремленной натурой этого человека и его обреченностью связано и название пьесы — «Пламенный мечтатель». В самом деле, историческая ограниченность не позволила пламенному патриоту и передовому мыслителю воплотить свои светлые идеалы; они остались только в мечтах.

Личность Грибоедова увидена очень точным глазом историка, художника и человека, живущего в Грузии. Это тоже во многом определило отбор фактов. Русский драматург, наверное, решил бы эту тему иначе и обратился бы совсем к другим моментам жизни Грибоедова. Но для Михаила Мревлишвили он не только великий сын русского народа, патриот своей страны, возвеличивающий ее, бескорыстный борец за счастье русского народа и своей страны, но и человек, который стал символом вековой дружбы русского и грузинского народов.

А. С. Грибоедов был одним из первых деятелей русской культуры, для которых Грузия стала второй родиной. Он — яркая душа той прогрессивной России, которая беспощадно обличала великодержавно-реакционную Россию и с которой боролась. Фигуры, подобные Грибоедову, цементировали братство русских и грузин. Своей пьесой М. Мревлишвили воздал хвалу этой дружбе и сделал созвучными события далекой истории и нашего времени.

Драматург не погнался за интересными фактами, деталями, эпизодами, которыми так богата жизнь Грибоедова. Он выбрал сравнительно небольшой отрезок жизни, который позволил ему глубоко и полно охарактеризовать гражданское лицо Грибоедова, его политические идеалы и человеческие черты, словом, все то, что автор поставил себе целью. Следует сказать, что выбор этот оказался единственно правильным и эффективным: ограниченный во времени локал придал произведению композиционную твердость, что обусловлено также целенаправленностью пьесы и правильно осмысленной авторской тенденцией. Драма получилась цельной. В художественном отношении это законченное произведение, которое как бы изнутри освещено и согрето звучной, патетической романтичностью, столь характерной для драматургии М. Мревлишвили.

Хорошо продуманные пролог и эпилог, которые помогают еще глубже проникнуть в сущность и природу характера главного героя, будто бы связывают нас с пьесой самого Грибоедова «Горе от ума». М. Мревлишвили применил оригинальный прием: детище мыслей и чувств Грибоедова, плод его большого таланта и вдохновения — Чацкий тоже является на сцене для того, чтобы образ своего создателя сделать еще более глубоким и понятным.

Драматург создал вокруг Грибоедова исключительно наглядный, красочный и образный антураж. Каждый персонаж выполняет свою функцию и выведен для того, чтобы выразить в художественной форме определенную идею. Таковы, например, русский декабрист Бестужев и грузинский парень Ростом, русский солдат Петрухин и император Николай Первый, шеф жандармов Бенкендорф и замечательный представитель передовой грузинской общественности С. Додашвили. С большим художественным тактом, внутренней теплотой и волнением обрисовал драматург предмет светлой любви Грибоедова, источник его вдохновения и счастья — Нино Чавчавадзе.

Живой и образный язык пьесы, хорошо очерченные диалоги и прекрасно построенные монологи создают завершенность характеристики персонажей, позволяют еще глубже заглянуть в духовный мир действующих лиц. «Пламенный мечтатель» — несомненное достижение современной оригинальной советской драматургии в историко-биографическом жанре.



●

К 70-ЛЕТИЮ  
 ПЕРВОЙ  
 РУССКОЙ  
 РЕВОЛЮЦИИ  
 1905—1907 гг.

●

# Жизненные

## ИСТОКИ РЕВОЛЮЦИИ

В последнее время в национальных литературах заметно усиление внимания к историко - революционной тематике. Для писателей разных национальностей характерен повышенный интерес к глубинным жизненным истокам революции, к тем первым ее шагам, когда закладывались прочные основы интернационального братства народов нашей страны, в дальнейшем обеспечившего всемирно - историческую победу Великого Октября.

Ярким подтверждением сказанного является роман осетинского писателя Сергея Хачирова «Глашатай гор», изданный в двух томах юго-осетинским издательством «Иристон».

Произведения С. Хачирова — поэта, драматурга, прозаика — стали известны широкому кругу читателей еще в первые послевоенные годы. Они издавались в Северной и Южной Осетии, ставились на сценах национальных театров. Последнее время автор плодотворно работает в области прозы. Новый его роман «Глашатай гор» — воплощение многолетнего творческого опыта, зрелости и художественного мастерства, значительный вклад в осетинскую литературу.

В многогранном эпическом произведении, в ярких картинах жизни автор воссоздал правдивую историю первой русской революции в одной из областей Грузии — Юго - Осетии, историю совместной борьбы трудящихся — осетин, грузин и русских — против ненавистного народом помещичье-буржуазного, самодержавного строя России.

Повествование начинается с краткой, но яркой обрисовки главного героя.

На скале, что возвышается над глубоким ущельем, подобно горному орлу, сидит широкоплечий горец. Грудь его крест-накрест опоясана патронташамми, к ногам приставлена винтовка. Рядом — черная бурка, сзади — любимый конь Загар. Голова горца отяжелела, точно свинцом налила. Он голоден. Сон, как кошмар, придавил его к скале.

Это Васо Хубаев, чье имя наводит ужас на алдаров<sup>1</sup> Чпанского ущелья; они боятся его, как черт ладана; за поимку или убийство Васо обещана большая награда.

Группу бедных горцев, грузин и осетин, судьба забросила в поисках заработка в лесную глушь, где они работают на лесопильном заводе князя Амилахвари. За ничтожные гроши горцы трудились днем и ночью. Уже три месяца как хозяин лишил их заработка. И вот, сопровождаемый охраной, он появляется перед ними наглый, самовлюбленный и уверенный в собственной силе. Амилахвари сообщает им, что его посланцы с деньгами якобы попали под снежный обвал и пропали. Теперь надо ждать весны, а там, авось, обнаружатся и трупы, и деньги. Горцы поняли, что это был мошеннический ход. Среди рабочих растет волнение и недовольство. Но хозяин жесток и беспощаден.

— Откуда ты набрал этих наглых мятежников? — неистовствуя, обратился Амилахвари к старшему из рабочих Нико Датунашвили. — Что им нужно, я сказал — весной!

— Кроме своего заработка, мы ничего не требуем, — ответил Дианоз Арсагов.

От этих справедливых слов Амилахвари озверел. Он стал бить Дианоза кнутом. И тут угнетенные, оскорбленные люди не выдержали. Негодование захлестнуло их. Васо Хубаев выхватил из рук Амилахвари кнут. Тогда хозяин решил действовать шашкой, но и замануться не успел, как Васо могучим ударом свалил его, прижал к земле и стал колотить. Охрана князя заволновалась. Но горцы не дали ей опомниться.

— Ни с места! — крикнул Авто. Охрана была обезоружена. Амилахвари приводили в чувство.

Горцы знали, что избивание хозяина повлечет за собой тяжелые последствия.

<sup>1</sup> Алдар — по-осетински князь, феодал, помещик.

Они стояли растерянные, не зная, что предпринять. Посматривали на Хубаева.

— А теперь немедленно надо спасаться, — сказал Нико Датунашвили, обращаясь к Васо. — Вот тебе мой дар. На первое время пригодится. А там — сам добудешь. Во дворе — конь алдара. Счастливого пути! — он вынул из кармана пистолет и вручил его Васо Хубаеву.

Так он стал мстителем, горцем-партизаном, который, скитаясь по горам и ущельям, совершал дерзкие нападения на алдаров, царских чиновников и их прислужников, на предателей.

Алдары трепетали. Они осаждали жалобами горийского уездного начальника Бауэра, требовали расправы над Хубаевым и сами пытались принимать всевозможные меры. Недовольство нарастало и в других местах. Для подавления повстанческого движения алдары стали создавать свои вооруженные отряды — «черные сотни». Но все эти попытки были тщетны. Тогда через голову горийского уездного начальника князь Амилахвари обратился с жалобой к тифлисскому губернатору: «Опасный государственный преступник полностью лишил нас покоя и свободного выхода из наших дворцов. Вот уже второй год наши люди не смеют появиться ни в одном горском селе за взмыканием законных податей. А если появляются, то их убивают. И виною всему этому Васо Хубаев».

Но случилось то, чего больше всего боялись алдары и царские чиновники. К Васо присоединились его друзья — Нико Датунашвили, Дианоз Арсагов, Авто, Асланбек и другие горцы. Они создали боевую дружину — «красную сотню»; затем такие же дружины появились и в других уездах; их возглавляли прославленные герои первой русской революции Габилы Хачиров и Антон Дреев.

Мы столь подробно остановились на этих эпизодах, чтобы показать, как умело раскрыл автор важную особенность революции 1905—1907 гг. не только в Южной Осетии и в Грузии, но и во всей России. События возникали и развивались стихийно, они были порождены самой жизнью, которая толкала угнетенные массы на борьбу против господства антинародного строя. Происходил стихийный процесс роста классового, политического самосознания трудящихся, что прослеживается в ярких, динамично развивающихся картинах в ходе всего повествования.

Максим Горький, характеризуя эпоху первой русской революции, в 1907 году писал: «Темп жизни становится быстрее, ибо все глубже в тайные недра ее проникает могучая тревога весеннего пробуждения, всюду ясно чувствуется

мятежный трепет — потенциальная энергия сознает свою творческую мощь и готовится к деянию.

Медленно, но неуклонно растет в народе самосознание, загорается солнце социальной справедливости, и под влиянием грядущей весны... бесстыдно обнажается уродливый остов современного общества — тюрьмы человеческого духа...

Придавленный к земле, окованный цепями рабского труда, народ поднимает голову, уже видны черты его вечно юного лица» (т. 24, стр. 5, изд. 1953 г.).

Эти слова великого русского писателя, пожалуй, можно было бы поставить эпиграфом к роману «Глашатай гор».

Историзм в художественно правдивом отражении сложных общественных, социальных условий жизни общества, пробуждения низов, стихийного развития революционных событий в процессе братского сближения трудящихся различных национальностей — вот в чем видится мне творческая победа автора «Глашатай гор».

Среди многочисленных персонажей романа есть и исторические личности, герои революции. Это — Васо Хубаев, Габилы (Того) Хачиров, Ольга Хачирова, Антон Дреев.

В ходе развивающихся событий прослеживаются социальные условия жизни, способствовавшие постепенному пробуждению самосознания, сближению трудящихся разных национальностей, которые закладывало основы братства народов. Вот небольшой штрих.

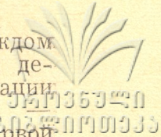
Когда избитый Хубаевым Амилахвари очнулся, он стал упрекать Авто за то, что тот не заступился за него: «Потому и бедна Грузия, что мы не стоим горой друг за друга». Известно, что царское самодержавие и социальные верхи стремились всеми мерами разъединять народы, сеять между ними национальную рознь и вражду. И вот эта ставка на враждебные народу силы оказывалась битой.

Долго размышлял Авто над словами Амилахвари, пытаясь осмыслить их: «О какой Грузии говорит алдар? Неужели у бедного горца с алдаром одна Грузия? Что у них общего?».

Став на путь борьбы, Авто присоединился к революционной боевой дружине, организованной Нико Датунашвили.

Центральное место в романе занимают деятельность боевых народных дружин — «красных сотен», жизнь и подвиги героев-дружинников, ставших выразителями чаяний угнетенного народа, отважными борцами за свободу.

И здесь хотелось бы прежде всего сказать об образе Нико Датунашвили — грузинского рабочего-революционе-



ра. Это человек огромного жизненного опыта, большой душевной теплоты, на долю которого выпало много тяжелых испытаний. Первый организатор боевой дружины, в минуты смертельной опасности он шел в первых рядах борцов и стал идейным вдохновителем «красных сотен». Нико — образец беззаветного служения народу, подлинный солдат революции. Люди видели в нем носителя человеческой правды, к нему постоянно обращались за советами, хотя он был всего лишь рядовым дружинником. Поэтому Авто и считал его олицетворением честной, трудовой, революционной Грузии. С таким же доверием относились к нему осетины и русские.

В статье «Пролетариат и крестьянство» В. И. Ленин в 1905 году указывал, что царские войска, наголову разбитые японцами в Маньчжурии, берут реванш над безоружным народом, предпринимаемая карательные экспедиции против внутреннего врага — против деревенской бедноты.

В ходе разворачивающихся событий мы видим яркое и наглядное подтверждение этих указаний В. И. Ленина. В Грузию, в том числе в Южную Осетию, спешно перебрасываются карательные войска для жестокого подавления восставшего народа и удержания антинародного царского строя. Во главе этих войск — наиболее преданные самодержавию офицеры. Среди них, например, капитан Внуковский, удостоенный царских милостей за подвиги в русско-японской войне, а теперь выполняющий роль кровавого жандарма.

Репрессии против народа принимают чудовищный характер. Каратели сжигают целые аулы за одно лишь подозрение в поддержке «красных сотен», арестовывают и расстреливают, ищут предателей, подкупают их, отбирают у крестьян скот, хлеб. Не случайно Максим Горький, говоря о «кровавых подвигах усмирителей революции 1905 — 1907 гг.», события в Грузии ставил в один ряд с днем 9 Января в Петербурге, истреблением латышей генералом Бакманом, расправой Ренненкампа с сибиряками, как наиболее «памятные акты жестокости».

Однако надежды, которые возлагали на капитана Внуковского царские власти и алдары, были опрокинуты героическими действиями «красных сотен» Васо Хубаева и Габила Хачирова.

«Красные сотни» превращались в организованную революционную боевую силу. Они наносили внезапные удары по карательным войскам днем и ночью. «Вольные боевые союзы, союзы «дружинников», если взять название, которое сделали столь почетным великие декабрьские дни в Москве, принесут гигантскую пользу в момент взрыва...

Пусть на каждой фабрике, в каждом профессиональном союзе, в каждой деревне раздастся призыв к организации таких вольных боевых дружин» — призывал В. И. Ленин в годы первой русской революции (т. 11, стр. 105, изд. 4-е).

Огромный исторический материал, художественно осмысленный в романе «Глашатай гор», дает основание с полной уверенностью сказать, что призыв великого вождя революции был услышан и подхвачен грузинскими революционерами. Нико Датунашвили был проводником ленинских указаний. Впоследствии руководство деятельностью боевых дружин осуществлял революционный центр Грузии.

Карательные войска капитана Внуковского были разгромлены повстанцами, а сам Внуковский захвачен в плен и едва спасся бегством. В другой раз он также потерпел поражение и чуть было не был предан военному трибуналу.

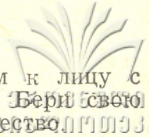
Сила «красных сотен» состояла не только в том, что в их рядах были закаленные и мужественные борцы. Они пользовались также любовью и всемерной поддержкой народных масс, которые видели в них своих защитников. Вот один из характерных эпизодов.

По ущельям Горийского и Душетского уездов направлялись очередные карательные экспедиции. Перед этим в бою был тяжело ранен командир боевой дружины Васо Хубаев. Каратели были уверены, что теперь им легко удастся разгромить повстанцев. Возглавили карательные отряды капитан Внуковский, Амилахвари и Цагарели. Каратели ночью пробирались по ущельям, чтобы совершить внезапное нападение. Горцы заметили это, разгадали замысел врага.

«Не к добру это», — подумал Алихан и тут же пустился в путь, чтобы сообщить повстанцам тревожную весть. Он пробирался в тяжелых условиях. Смертельная опасность грозила ему на каждом шагу. Сквозь вражеский кордон и линию расположения разведчиков-карателей Алихан все же пробрался к своим. Дружинники приняли необходимые меры и опередили карателей. Внезапным нападением они разгромили их отряд, а его главарь Ираклий Цагарели был убит. Остатки разбитого войска разбежались.

В ходе событий все более нарастает драматизм действия, часто возникают трагические ситуации, за исходом которых читатель следит с напряженным вниманием.

Особенно большой интерес вызывает поистине легендарный образ осетинской девушки, отважного борца революции Ольги Хачировой — Хубаевой, которая,



к сожалению, все еще мало известна. Вместе с братом, командиром «красной сотни» Габила Хачировым, Ольга отважно сражалась в рядах красносотенцев и выполняла особо ответственные задания по поддержанию связи с революционным центром Грузии.

Мы расскажем лишь об одном ее подвиге.

Ольга была послана с важным поручением в Тифлис. По доносу предателей об этом стало известно карателям. По улицам Тифлиса по ее пятам следовали ищейки, но ей удалось миновать опасность. Вместе с представителем революционного центра Майсурадзе она возвращается из Тифлиса в Южную Осетию. На всех дорогах ее возможного следования каратели расставили посты. За поимку Ольги Хачировой, о героизме которой задолго до этого знали власти, была объявлена награда в 5 тысяч рублей.

...В одной из засад сидит бывший главный приспешник Амилахвари, кровосос Коциа. Подлому шкурнику этот капитал даже снится, он уже строит планы расправы над Ольгой, которая до этого в одном из сражений захватила его в плен.

Коциа ждет вместе с Гамси, но Ольги все нет. Он уже успел ограбить двух путников, выдав себя за дружинника из отряда Хубаева. В это время из-за горки поднялись старик и старуха. В руке старика согнутая палка, старуха несет плетеную корзину.

— Стой! — крикнул Коциа.

— Из далекого аула я. Стоять мне некогда, — ответила старуха.

— Ни шагу с места!

— Зачем же кричать! Я же ничего плохого не делаю.

— Слушай-ка, старуха. Знаешь ли ты, кому возражаешь? Я абрек Васо Хубаев, — сказал Коциа.

Коциа и Гамси решили ограбить старуху, но не тут-то было. Когда они приблизились к ней, свершилось чудо. Внезапно ворот платья распахнулся, и они увидели череску и направленные на них два пистолета. Гамси схватил оружие, но тут же был убит наповал двумя выстрелами. Это была отважная Ольга Хачирова. Коциа, воспользовавшись замешательством, попытался бежать, но был остановлен и обезоружен подоспевшим Майсурадзе. Тут же появился дружинник Дианоз, у которого были особые счета с Коциа.

— Собачий сын, — обратился Дианоз к Коциа, — ты из-за угла убил моего отца. Тогда ты считал себя героем. А теперь, я смотрю, ты дрожишь, как в лихорадке. Куда делось твое мужество? Но ты не бойся. Я из-за угла не буду стрелять. Я из дружины мужественного Васо Хубаева. Он научил меня борьбе за правду. Моя

правда и свела меня лицом к лицу с моим врагом. Будем биться. Бери своего шашку и покажи свое мужество!

Начался поединок, и вскоре подлого предателя Коциа не стало.

В романе много фактов и событий, характеризующих революционную самоотверженность, героический дух красных дружинников. Даже буржуазная печать того времени не могла скрыть революционных подвигов боевых дружин Южной Осетии.

Вот что сообщала, например, газета «Иверия» в 1905 году: «Сейчас Цхинвали — уже не тот, что он был два года тому назад. Здесь внезапно вспыхнуло пламя движения и охватило горячим потоком все национальности. Грузины, евреи, армяне, осетины — все поднялись, стали в один ряд и устремились по одному руслу вперед.

В противовес созданной дворянской сотне крестьянами были организованы красные боевые дружины, называвшиеся «красными сотнями». Они наводили панику на помещиков и власть.

16 декабря 1905 г. цхинвальская «красная сотня» низвергла царские власти в Цхинвали, в сел. Тквиави я направилась с той же целью в другие пункты Горийского и Душетского уездов» (см. книгу И. Никонова «Крестьянские восстания в Юго-Осетии», 1956, стр. 13).

Народные боевые дружины установили связь с революционерами, работавшими в царской армии, поддержка которых способствовала успеху их деятельности. Эта историческая действительность ярко и убедительно отражена в романе, преломленная в образе и действиях русского офицера Ивана Сокола. В сложных, смертельно опасных условиях приходилось ему выполнять свой революционный долг, особенно в первое время, когда он не имел связей с «красными сотнями», а вокруг подвизались предатели и доносчики.

Исподволь усилиями Ивана Сокола в значительной мере было подготовлено поражение нескольких карательных экспедиций. Это он организовал освобождение и побег отважного командира «красной сотни» Васо Хубаева, захваченного карателями в плен.

В образе Ивана Сокола воплощены не только качества революционера, но и черты русского национального характера: душевность, простота и скромность, стойкость духа и интернационализм.

В ходе революционной борьбы сама жизнь, стремление к свободе сближали людей разных национальностей, рождая могучие ростки братской дружбы.

В этой связи следует сказать и о русском солдате Семене Волкове. Оставшись сиротой, он батрачил у помещика.



Видя надругательства над человеком, он не выдержал этого и избил холоуя-помещика. В наказание его забрали в армию. Во время сражения он перешел на сторону «красной сотни».

— Я солдат. Место жизни избрал среди вас. И жить, и умирать — вместе с вами.

«Красные сотни» — боевые дружины восставшего народа — были сердцевинной развернувшихся революционных событий. Они сыграли важную историческую роль не только как вооруженная сила революции, но и как ячейки интернационального единения народов в борьбе против самодержавия.

Достоинства романа не только в исторической достоверности повествования, в глубоком проникновении в историко-революционную сущность событий, но и в психологическом раскрытии внутреннего мира героев, в индивидуализации их образов, характеров и судьбе подчас при общности их социального бытия.

В отличие от многих произведений на историко-революционную тематику, в которых обнаруживается чрезмерное увлечение фактографическим описанием событий и их документированием, автор «Глашатая гор» умело сочетает историзм с художественным вымыслом, творчески осмысливая изображаемые им факты и события. И поэтому образы подлинных, реальных героев и героев, созданных творческой фантазией писателя, одинаково убедительны и впечатляющи.

Писатель проникает в тайны социальных отношений, раскрывая существенные явления и особенности, характеризующие эпоху. Красной нитью через роман проходит, например, описание острых противоречий в семье двух братьев — Ахмата и Курмана. В жизни и во взаимоотношениях двух братьев наглядно прослеживаются две тенденции, два направления социально-экономического развития. Для Курмана весь смысл жизни — в приобретении собственности, богатства. Для достижения этой цели он абсолютно ничем не брезгает, ни перед чем не останавливается. Он жесток, жаден, нагл и подл. Такова

же и его жена Музиан. И тут вполне применима осетинская поговорка: «Муж и жена одним топориком измеряются». Курман — типичный кулак. И теперь он шел на службу к карателям в качестве доносчика, стал предателем. И все из-за жадности.

Ахмат честен, трудолюбив, активно помогает «красным сотням», добывая и доставляя им оружие.

— Тебе известно, что мы с братом — нож и мясо<sup>1</sup>, — говорит Курман жене Музиан. — Как день и ночь отличаемся мы друг от друга. Если один из нас доберется до другого — зарежет. И оба мы ищем пути к этому. Я днем и ночью думаю над тем, чтобы ухватиться за такой путь... Мой брат — друг мятежников.

Курман — предатель, ищетка, продажный холоу. Он составляет доносы на брата, выслуживается перед начальством. И сына своего Пикудза воспитывает в духе ненависти к Ахмату и его пяти сыновьям, идущим по стопам отца. Пикудз до поры до времени следует по пути отца, но постепенно прозревает, начинает смотреть на окружающий мир своими глазами.

Доброта Ахмата и его жены Текле оказывается сильнее родительской злобы. Он случайно становится очевидцем предательства отца и отрекается от его идеалов, избирая иной путь в жизни.

Ахмат погиб по доносу Курмана. Но остались его пять сыновей, идущих по его стопам. К ним примкнул и Пикудз.

Первая русская революция потерпела поражение. В жестоких сражениях погибли многие отважные борцы. Но дело революции живет. Живы и закаленные в боях Иван Сокол, Нико Датунашвили, Васо Хубаев, Габила и Ольга Хачировы. Вместе с ними пойдут сыновья Ахмата, пойдет новое поколение. Они победно пронесут по жизни знамя революции. Таков вдохновляющий вывод, вытекающий из многих ситуаций, отраженных в романе.

<sup>1</sup> Осетинская поговорка, смысл которой выражает непримиримую вражду.



# Когда поэт с поэтом говорит...

Строфа за строфой, строка за строкой, образ за образом, в переводе Лозинского «проверенные на точность» Огневым, позволяют ему прийти к весьма недвусмысленному выводу: «Как видно, при внимательном анализе ничего не остается от мифа о точности этого перевода Лозинского...

Неточный в поэтическом смысле перевод не может быть точным в лингвистическом. И речь здесь идет — я подчеркиваю это — не о размерах дарования переводчиков, а о принципиальной недооценке Лозинским в данном случае могущества ассоциаций, роли ритма не как мертвого, размеренного гула строк, а как носителя пафоса вещи... Не будем пристрастны к придирам, оставим для иных времен споры о «кровных и кровниках»... Не это занимает нас сейчас: важнее отметить совсем другое — Лозинский ведь и не стремился к «точности лингвистической». Напротив, он, декларируя свое понимание целей и задач перевода, неоднократно и без обиняков указывал как раз на то, что «проблема перевода вообще для каждого языка решается по-своему, в зависимости от его структуры, от его возможностей. Особенно это относится к переводу стихотворному, где огромное значение имеют просодические возможности языка». Больше того, в докладе «Искусство стихотворного перевода» (1936), откуда и приведенная цитата, Лозинский, перечисляя различные элементы формы и содержания произведения, размышляя об их соотношении и воспроизведении как методе перевода, особый упор делает как раз на ритм и мелодию. «Гимны» ритму и мелодии в докладе Лозинского можно черпать пригоршнями, они рассыпаны по разным главам с щедростью превеликой, выдающей и истинные пристрастия, и первую любовь поэта-переводчика. «Бесспорным кажется мне положение, что признаком речи поэтической является стих. Образующим же началом стиха служит ритм», — слова Лозинского. А вот повторение той же мысли: «Ритм — самое глубинное, самое мощное организующее начало поэзии. Ритмом держится стих, ритмом он живет и дышит. Многообразны ритмы стиха, и многообразны те отклики, которые они рождают в нас. Различные ритмы оказывают на нас различное воздействие, и не случайно поэты облачают то, что им надо сказать, в ту или иную ритмическую ткань. Повесть о скитальце Одиссее не споешь, как английскую балладу, а приключения Робин Гуда, рассказанные гомеровским стихом, перестанут быть собой. **Внушающая сила ритма** (выделено Лозинским. — М. З.) шире языковых границ, она универсальна». Подобным высказываниям Лозинского — несть конца. Но ясно и так, что для него, поскольку «стих — это первичный ритмический род», «поэт-переводчик должен прежде всего стремиться **воспроизвести ритм** переводимых им стихов».

Как это бесконечно далеко от позиций теоретиков-лингвистов! А Лозинский-практик в своей непосредственной переводческой работе не только не отступал от «собственной стези», но подчас стремился пронести свой переводческий стих и поверх «теоретических барьеров». В докладе 1936 года, к слову сказать, осторожно предусматривались те случаи, когда соблюдение оригинального рит-

Окончание. Начало в №№ 11, 12 за 1974 г. и в №№ 1, 2 за 1975 г.

ма могло привести к ложному эффекту, могло породить в читателях «совсем другую настроенность, чем та, которую подлинник вызывает в слушателях на его родном языке». Особенно это относится к языкам, — предупреждал Лозинский, — далекий друг от друга по своему строю или ритмическому складу. Так, например, обстоит дело при переводе грузинских стихов на русский. Здесь сплошь и рядом соблюдение ритма подлинника (я не говорю уже о технической трудности) нежелательно потому, что оно привело бы к ложному эффекту. И тут поневоле приходится выбирать другие ритмы, такие, которые дали бы более адекватный оригиналу эффект. Но здесь мы имеем соотношение языков исключительное, обычны же для чужеземных ритмов или точные подобия, или близкие аналогии». Но то, что для Лозинского-теоретика казалось соотношением исключительным, то для Лозинского-практика было, на поверку, лишь заманчиво-трудной творческой задачей поиска или «точного подобия, или близкой аналогии». Впрочем, стимул к поискам давал сам теоретик — он, не сомневаясь, предсказал, что «внушающая сила ритма шире языковых границ, она универсальна».

Для Лозинского выбор между внушающей силой ритма, что шире языковых границ, и устойчивой силой языков, далеких друг от друга по своему строю, вовсе не представлялся мучительной дилеммой. В переводах он твердо полагался на универсальную внушающую силу ритма, на возможность его воссоздания средствами иного языка. Подтверждение тому — перевод «Мерани» Бараташвили.

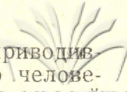
Прежде чем взглянуть в этот перевод, сделаем два предварительных замечания. Первое — работа Лозинского относится к тридцатым годам, когда после поездки в Тбилиси бригады русских писателей значительно возрос интерес к грузинской литературе. Тогда и было задумано издание сборника «Грузинские романтики», увидевшего свет в 1940 году и познакомившего русского читателя с переводом Лозинского бараташвилевского «Мерани».

Второе. Все, когда-либо писавшие о «Мерани», неизменно и особо останавливались на ритме стихотворения — он не просто один из организующих компонентов произведения — равнозначный в ряду равноважных — он, может быть, действительно сильнейший возбудитель читательского восприятия, то доминантное средство художественной выразительности, которое в наибольшей степени несет в себе поэтический заряд стихотворения. (Сколько раз, кстати, приходилось наблюдать, как слушатели, не знающие грузинского языка, заворожено внимали неудержно несущимся в безбрежность космических далей бараташвилевским строкам! Как, покоренные страстью, мощью стихотворного ритма, сменой внутренней интонации четырнадцати- и двадцатисложных строк, слушатели с готовностью подчинялись самой музыке бараташвилевского стиха!).

Конечно, могут возразить мне: ритм в «Мерани» — дело далеко не десятое, но ритм как «не мертвый размеренный гул строк, а как носитель пафоса вещи» выявляется только в неразрывном сцеплении, в нерасторжимой слитности «могучих ассоциаций» — смысловой, содержательной стороны произведения и компонентов его формальной структуры. Спору нет, связь тут не механическая, а внутренняя, органичная, но связь, заметим, даже приводящая к новому качеству, — не раствор из компонентов равного количества и даже равного значения, а живая плоть стиха, в котором все соподчинено и отмерено далеко не в равных пропорциях.

Но об этом мы еще поговорим. А пока необходимо решить для себя вопрос самой возможности воссоздания в переводе ритма подлинника, его основных и характерных черт. Вот ведь даже Лозинский-теоретик не видел путей передачи ритма далеких друг от друга по своему строю или ритмическому складу языков. Правда, Лозинский-практик тут же оспорил в своем переводе «Мерани» это мнение, — но ведь оспорить еще не значит оказаться правым?!

А что говорит теория переводческого искусства? Не буду произвольно подбирать примеры («история — пресволочнейшая штука...»), сошлюсь лучше на доклад Антокольского, Ауэзова, Рьльского, именно на тот доклад, где оспорен метод Лозинского-переводчика «Мерани» и где черным по белому написано: «Поэту-переводчику предоставлено широчайшее поле для эксперимента в области формы. Само по себе это хорошо. Можно привести множество примеров, как еще со времен Жуковского произведения английской и немецкой поэзии обогатили нас новыми ритмами, новой организацией поэтического материала. И в наше время многочисленные попытки передать русским стихом сложные формы таджикской, азербайджанской, грузинской поэзии нередко приводили к интересным результатам». И в другом месте: «В интересах теоретической ясности следует прибавить следующее: поэт-переводчик может и должен сохранить поэтическую форму оригинала — строфу, чередование и характер рифм. Но пусть не маячат перед ним при этом нормы чужого языка: чужой синтаксис, чужое стихосложение, которые складывались в нормах чужого языка и только от них зависят».



Сказано достаточно ясно. Но вспомним, что перевод Лозинского в приводившейся прежде цитате квалифицирован как «заблуждение талантливого человека» («эксперимент эксперименту рознь»!), как «образец его принципиальной ошибки», результат «увлечения задачей передать русским стихом ритмику подлинника, грузинскую ритмику». Теперь сравним — последовательное чтение двух отрывков из доклада на II съезде писателей сразу подводит нас к истокам проблемы: с одной стороны, авторы доклада решительно поддерживают тех переводчиков, которые еще со времен Жуковского «обогатили нас новыми ритмами», «новой организацией поэтического материала», а с другой, столь же решительно предостерегают от провала тех переводчиков, перед которыми «маячит... чужое стихосложение»...

Так должны «маячить» перед взором переводчика чужой ритм, чужое стихосложение, чужая стихотворная форма? Ответ дает вся история перевода, да и история всей русской поэзии тут тоже не может оставаться безучастной: «Илиада» (это только пример!) все-таки переведена на русский язык гекзаметром, сонеты Шекспира (тоже пример!) и на русском состоят из катренов и терцетов; опыт «новой организации поэтического материала» оказался продуктивным и не остался без следа в русском стихосложении: гекзаметр имитировали и Пушкин, и Лермонтов, и Блок, к терциям обращались также многие классики русской поэзии. Ну ладно. Не будем замыкаться в системах «близких языков» — не станем пренебрегать указанием на «различия языков далеких» и «далеких стихосложений».

Русский и грузинский стих, силлабо-тоническое, слогуударное стихосложение и стихосложение силлабическое, слоговое, — куда уж, казалось бы, дальше! Но минутку. Разве в русской поэзии так-то непривычны к силлабике, разве не два с половиной века вирши писались по системе «слогосчислительного стиха»? История? Прошлое? К чему тянуть русский переводной стих вспять, к Симеону Полоцкому? Да никто и не тянет, — просто хотелось отметить, что не всегда правомочны разговоры о «далеких языках» и «далеких системах стихосложения». К тому же грузинский стих тоже, только очень условно, может быть причислен к лику «чистой силлабики». Ударения в словах здесь не столь отчетливы и устойчивы, как в некоторых других языках, но они — по мнению всех грузинских стиховедов — не могут не приниматься во внимание при анализе ритмической организации стиха. Не случайно о ритме перевода «Мерани», сделанного Лозинским, говорят — и зря! — даже как о кальке, копии бараташвилевского ритма. Вот ведь, значит, Лозинский увидел не только силлабичность, но ощутил и тоникку, метрику «Мерани». Больше того, он расслышал все ритмические модификации, которые по основной метрической схеме ткнут свой неповторимый узор. Цезуры в коротких стихах перевода, как и в оригинале, разбивают строки на три доли, оставляя безударными те же примерно отрезки речи, что и в подлиннике. В длинных строках движение стиха иное — тут цезуры выделяют, как, кстати, и в оригинале, четыре доли, сохраняя опять-таки почти подлинные безударные слоговые промежутки. Смена дыхания, осязаемый внутренний перебив ритма, воспроизведение — не калькирование, а прорисовка общих черт, самого абриса, интонации бараташвилевских стихов, — вот, в данном случае, вольный или невольный строительный метод Лозинского. Добавьте сюда еще четкое чередование разносложных стрóf — коротких и длинных, — нет, не обязательно четырнадцатисложных и двадцатисложных, как у Бараташвили, а именно соответственно более коротких и более длинных, приплюсуйте сюда еще стрóгую архитектонику перевода, подобную архитектонике оригинала (за малосложной строфой следуют многосложные, и только восьмая, предпоследняя в стихотворении многосложная строфа «выступает в одиночестве»), и вы начинаете думать не о «формалистических изысках» переводчика, а о сложнейшем языке искусства и содержательности поэтической формы, не о копиях, поделках и подделках, а о воспроизведении (не хочется пользоваться словом «имитация»!) на русском языке поэтической структуры, формы, ритма «далекого по системе стихосложения» грузинского стихотворения. Тут для Лозинского-переводчика нет мелочей и ничего не значащих «формальных украшений». За каждой формантой он обнаруживает свой смысл, свою поэтическую содержательность. Он опирается, конечно, не только на свой прошлый опыт, не только на умение читать стихи, но и на доверие к самим стихам, на организованность их формы, которая, благодаря своей внутренней согласованности, взаимосвязанности разных средств поэтической выразительности, как бы властно «ведет» за собой поэта-переводчика и открывает его внутреннему взору все извивы и переливы своей формы. Порой просто двину даешься, как точно вдруг «включается» переводческая поэтическая интуиция, помогая художнику проникнуть в мир заповедный, в тайное тайных, в само звучание «текста», скрытое, казалось бы, от него, непосвященного в таинства чужого, далекого языка, за семью печатями. Вряд ли вы обращали когда-нибудь внимание на «перепа-

ды» в насыщенности гласными звуками разных строф бараташвилевского «Мерани». А между тем такие «перепады» не только обнаруживаешь, «поверив в дребной гармонии», но и замечаешь некую чуть-чуть приглушенную закономерность: в четырнадцатисложниках гласных звуков по отношению к общему количеству звуков в строке несомненно меньше, чем в двадцатисложниках. Если в коротких строках процент гласных может упасть до тридцати пяти, а подняться до сорока трех, то в длинных амплитуда «колебаний» другая — от тридцати девяти до сорока шести процентов. В строфах вариации приглушенной — контрасты как бы перенесены на уровень стиха, строки; противоборство и противостояние мелодических тем как бы развертывается внутри строфы и только очень приглушенно сказывается на противостоянии разносложных строф.

Но это у Бараташвили?! Не только. Проверка подтверждает, что в переводе Лозинского мы обнаруживаем любопытные закономерности. Пожалуй, даже контрасты огласовки здесь еще заметней, разительней — впечатление создается такое, будто переводчик, интуитивно уловив одну из важных особенностей бараташвилевского стиха, обрадованный сродством поэтических языков — которые «шире языков обычных», — с щедрой готовностью устремляется навстречу творческой воле грузинского поэта. Вот результаты подсчета: в тринадцатичетырнадцатисложных стихах перевода процент гласных держится в пределах от тридцати трех до сорока трех процентов. В девятнадцатидвадцатисложных стихах нижняя граница — тридцать семь процентов, а верхняя поднимается до пятидесяти одного процента. Те же примерно результаты дает и подсчет по строфам: в коротких — от тридцати девяти до сорока двух процентов гласных, а в длинных — от сорока одного до пятидесяти одного процента.

Было бы, конечно, очень соблазнительно за этими «волнами гласных», за этими «кирпичиками» формы сразу же разглядеть не просто и не только, так сказать, формальную содержательность, но и «перевести» ее, в свою очередь, на язык содержательности, «смысловой»: ведь не играют же поэты, как в бирюльки, с мелодикой стиха! Но нет. Подобный «прямой перевод» на язык понятий был бы самым разительным буквализмом, а опыт Лозинского — переводчика «Мерани» тем и знаменателен для искусства перевода, что подчеркнул саму возможность передачи художественной формы оригинала средствами иного языка, отобранными под диктовку высшей художественной цели.

## ПУТЯМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

В девятом сборнике «Мастерство перевода» печатается статья Ст. Рассадина «Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики)». Это — работа критика, который рассматривает конкретные переводы на русский язык известного балкарского поэта. Угол зрения — очевиден, пафос статьи отчетлив — он продекларирован еще несколько лет назад, в статье «Плюс десять веков», посвященной «русскому» Григору Нарекаци. Тогда Рассадин писал: «Сотни раз сказано: художественный перевод в идеале должен стать органичным явлением «восприимчивой» литературы. Прекрасная истина. И много раз подтвержденная практикой. Но мне кажется, что в теории мы порою повторяем ее автоматически, не всегда представляя себе многообразие условий, на которых литература согласится принять в себя иноязычное создание. Среди этих условий, разумеется, учет и возможностей языка, на который совершается перевод (будем говорить только о русском и только о поэтическом переводе), и эстетики русской поэзии, ее образного строя, метрики, ритмики, среди них же — потребность отыскать родственную опору для пришельца, установить его место в новом для него ряду, в ряду исконно русских стихотворений, установить по ассоциации, а может быть, и по диссоциации». Итак — опора на перевод, ставший органичным явлением «восприимчивой» литературы... Но заметим, что Рассадин оговаривает локальность собственной задачи — он будет касаться только поэтического перевода. Он критик, а не «теоретик перевода», выводы и заключения которого, как правило, в силу их теоретической всеобщности, претендуют на всеобъемлющий характер.

Рамками поэтики ограничен и разговор в статье «Вторая родина». В ней автор, напомнив слова Чуковского о Маршане («Достоинство его именно в том, что он воссоздает не отдельные строки Бернса, но его самого, его стиль, его пафос и юмор, самую суть его личности, его душевного склада»), добавляет и «от себя»: «Разумеется, было бы запоздалым делом защищать нынче право переводчика на «неточную точность». Аскетичный буквализм если и не побежден, то скомпрометирован. И я хочу добавить к словам Чуковского лишь вот что: «Вслед за тем, что переводчик передает на своем языке «не отдельные строки поэта, но его самого», ощущение цельного образа переведенного поэта приходит

и к нам, читателям...». Вот задача переводчика стихов: не отдельные строки поэта, но его самого... Во имя ощущения цельного образа переведенного поэта было бы даже «запоздалым делом» защищать нынче право переводчика на «не точную точность»...

И все же Рассадин защищает нынче и необходимость ощутить цельный образ переведенного поэта и право переводчика на «неточную точность». Он ссылается и на «русского Шекспира», который станет беднее, если изъять из маршакковского перевода «прекрасные, истинно шекспировские, чувственные и одновременно духовные строки: «А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки вежливый лепесток»; и на «русского Бернса, для которого так органична озорная игра словами: «у которых есть, что есть, те подчас не могут есть». А ведь у Бернса, поясняет Рассадин, естественно, нет этой игры: в английском языке глаголы «быть» и «есть» (в смысле питаться) не совпадают ни в одной из форм. И у Шекспира сказано иначе, проще: «Много есть запахов ароматнее дыхания моей возлюбленной».

Цитаты из переводов классиков должны подтвердить одну-единственную мысль — в поэзии общий дух стихотворения, его ритмико-стилистическая фактура может подсказать переводчику и отдельные новые образы, которые как бы присутствовали в подтексте подлинника, вытекали из всего мироощущения и строя речи поэта, но не «сказались», не были «увлечены» на быстрину строки ни ритмической организацией стиха, ни строем родного языка поэта... Замена образа — всегда фиксируется, но с разным душевным отношением. Когда в одном из стихотворений Кайсына Кулиева, переведенном на русский язык Н. Гребневым, критик не находит сравнения: «Каждое их слово — нужное слово, нужное, как колесо арбе» — он отмечает это с сожалением. Но когда обнаруживает в переводе Гребнева новые, сравнительно с оригиналом, подробности («Что ночью телка пала у соседа», «Мне все равно, кто прав и кто неправ»), то радуется их «кулиевскому, несомненно кулиевскому» звучанию. Они, отмечает Рассадин, как бы компенсируют прежние потери... Итак, сверяется не образ с образом, а образная система с образной системой, не строка со строкой, а стихотворение со стихотворением, личность балкарского Кулиева с личностью Кулиева, заговорившего по-русски.

Перерывы в единстве поэтического стиля — вот истинная отсебятина, отсебятина «неточная». «Нам, не знающим балкарского, — замечает Рассадин, — дают возможность угадать свои же собственные неточности переводчики Кайсына Кулиева. Это — их парадоксальное завоевание». Неточный ритм, неточное словечко выталкиваются истинным ритмо-стилем поэта.

Приведены строки из перевода Гребнева:

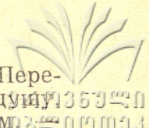
**Состарятся юнец  
И стройная жеманница,  
Останется рубец,  
Хоть рана и затянется.**

А вот комментарий: «Когда читаешь эти строчки, переведенные Гребневым, строчки изящные и легкие, тонко инструментованные (на «ст»: «состарятся», «стройная», «останется»), то плохо верится, что они имеют отношение к Кайсыну Кулиеву. Это не Кулиев, это английские переводы Маршака. Сама плоть поэзии Кулиева выталкивает эти чужеродные строки, не принимает чужой интонации, чужого, хоть и несомненного, изящества. Чужая интонация — чужое изящество ритма — чужая легкость лексики («юнец, жеманница»).

Вот границы дозволенной «вольности содержания» для поэта-переводчика — они ограждены самой поэтикой переводимого поэта... И дискуссии, как говорится, подлежит не буквализм прямого соответствия слова слову, а сами соответствия содержания и формы переводимого и переводного стихотворения...

Под таким, только под таким углом зрения правомочно, думается, рассматривать и переводы Беллы Ахмадулиной из Галактиона Табидзе, переводы, вызвавшие множество горячих откликов и споров.

Что поражает прежде всего в ее переводах — так это удивительная, почти неправдоподобная точность слуха поэта-переводчика на первозданность трагической боли Галактиона Табидзе, на пронзительность слова слову, а сами умудренной и просветленной сейчас приятием чужой боли и знающей великое самоотречение любви, безоговорочно готовой выслушать трагический урок истории и жаждущей только — нет, не избавления от страданий, от самоборения, — жаждущей слияния с судьбами иными, вчера еще казавшимися ненужными и незаметными! — так услышать Галактиона мог только истинный поэт. И только истинный поэт всю сложность и перебивчивую стройность его исповеди мог вместить в иной язык, в иные слова. Но только тогда снова и снова,



как завороченный, произносишь за ним строки переведенного «Снега». Переведенного из языка в язык, но равно сохранившего свою поэтическую душу. Тут прямо мистика какая-то охватывает, — бросаешься к грузинским стихам и не для того, чтобы сравнивать и сопоставлять, а для того, чтобы еще раз поразиться чуду поэзии, — нет, новая красота ни на ноту не убавила в старой, оказывается, поэзию нельзя унести, к ней можно лишь приобщиться — была бы только щедра и распахнута твоя собственная душа! И раздробить, расчленить, разбить «на цитаты» чужие строки невозможно. Их можно либо ощутить вдруг, сразу в их неповторимой и неразрывной цельности при готовности и подготовленности собственного зрения, либо ухватиться за мерную последовательность каждого слова, и тогда, подобно слепцу, ткнувшемуся палкой своей в каменную кладку, но так и не догадавшемуся, что перед ним не просто препятствие, не просто гладкая стена, а необходимейшая и благороднейшая часть ослепительно прекрасного здания, — тогда можно лишь стать разрушителем чужого порыва, прекрасного замысла.

В переводе Ахмадулиной общую тональность стихов, саму мелодию их ритма — трехстопного анапеста с чередующимися клаузулами, обрывающимися неожиданно, как бы перехватывающими дыхание, постигаешь сразу и несешь в себе уже до конца стихотворения. Это самый главный и самый «организующий» слой его структуры — основа его своеобразной цельности и целостности. Ее только по-своему поддерживает рифмовка — перекрестная, с чередующимися женскими и мужскими окончаниями, с перебивами замедленного плавного-растянутого звучания и энергичного, обрывистого, резкого конца. Воистину кажется, что само название рифм удивительно точно выражает то борение и слияние двух начал — самоутверждения и самоотречения, дерзкой силы и беспредельной доброты, — которые «ведут» и формируют строфы стихотворения и, где-то в тайной глубине его окончательно сливаясь, вновь приводят к постижению единства и слиянности мира.

Но это уже, так сказать, третий поэтический поток, незамутненный и живой, который, смывая все наносное и случайное, вдруг открывает и красоту каждого камешка на доньшке своего русла, и, что, может быть, еще важнее, совершеннейшую логику и конечную правоту тех сил, что определяют движение поэтического сюжета. Он разработан в переводе тщательно и последовательно, приближая элегию к поэтической новелле. Рассказу о трагической безысходности любви предшествует история любви счастливой, но неоцененной, безмерной, но небрежно упущенной. В передаче «нобеллы» — как «прежде» в воссоздании общего ритмико-мелодического звучания — Ахмадулина чрезвычайно точна. Она стремится к передаче каждой детали, каждого штриха, реалистически закрепляющего пластическую выразительность двух образов, двух характеров. Пожалуй даже, она точна до скрупулезности, до стремления увидеть подразумеваемое, лишь оброненное некогда мимоходом, попутно, вскользь. В такой «развернутости» пластического плана просматриваются как нигде отчетливо те шесть десятилетий, что отделяют само начало свершившейся трагедии разъединения двух человеческих душ от ее нынешнего продолжения и сегодняшнего осознания. Это — полвека между подлинником и переводом, время, обострившее память и знание, но не снявшее давней боли.

В переводе, короче, характерность героев как бы дополнительно конкретизируется. И если необходимо сравнивать, то скажем, что в первую очередь рельефней, осязательней, реалистичней становится именно «второй план» стихотворения, тот указатель трагической вины, который в табидзевском оригинале только угадывался, только проступал пунктиром. Тогда в видении и в воображении только чуть брезжила его жизненная предоснова, сейчас это — реальнейшие факты реальнейшей действительности. Все верно и абсолютно точно, только чуть тверже акценты, проясненные шестью десятилетиями, и намек подчас становится даже бытовой подробностью. Табидзе видит (именно видит, а не вспоминает, — для него почти нет времени, последовательности событий, историзма — все происходит сейчас, одновременно, в сознании!) проступающую в снегопаде белизну рук, «бессильно опущенных в снежные хлопья. Мелькнет и исчезнет, и снова мелькнет «мандили» твое в этой синей пустыне... В переводе это не причудливый образ сознания, вернее, это и образ обостренного сознания, и воспоминание о прошлом, сколок, эпизод давних дней:

Дорогая, с каким снегопадом  
Я тебя отпустил в белизну  
В синем, синеньком, синеватом  
Том пальтишке — одну, о, одну?

У Табидзе образ любимой лишь возникает на снежной белизне, как на белом экране, он неотделим от памяти самого героя, охватившего в нем

главное, закрепившееся в чувстве, всплывающее сейчас в нежной  
«Есть дорога, есть такая странность игры... А ты идешь совсем одна  
одиноко!»

В переводе:

**О, какая нависла огромность  
Над печальным сердечком твоим.**

«Пальтишко», «сердечко» — это не только лексика и семантика, это и отношение к происходящему и его осмысление. Внешний слой стихотворения, его, условно говоря, понятийно-смысловое или — еще условнее — повествовательное течение становится конкретней, «реализованной в слове», а история трагического «одиночества» всегда одинокого человека просвечивается и дополнительным светом человеческих отношений, вдруг крупным планом выхватывающих в прежнем кадре и трагическую вину героя, и небрежность, и самоуверенность его в любви, и великое женское долготерпенье, и вечную заботливость ее, и нескончаемую нежность любви... Но все это — с такой поэтической тонкостью и абсолютным чувством меры, что любой детали на поверку вы всегда найдете опору в подлиннике, вы всегда можете сослаться на оригинал, на какую-то его скрытую частность, — ибо здесь не уход (даже не вольность любви!) — здесь иная дата рождения той же трагической коллизии! Да и само обращение к Галактиону совсем не случайно. Возможно, что, именно так прочитав стихотворение, переводчик смог углыдеть и все его внутренние скрепления, все внутренние мосты и сцепы, которые-то и стягивают окончательно воедино все выплеснутые на поверхность конфликты, все мыслимые и немислимые сложности любви.

Их исхода и искал русский поэт, их преодоление он обнаружил у Галактиона. Ведь даже последние строфы «Снега» — не последняя точка стихотворения, в них — за словами, за молением, за болью — сознание улавливает и надежду, и всепреодолевающую веру:

**Как снежит... И стою я под снегом  
На мосту, между двух фонарей,  
Как под плачем твоим, как под смехом,  
Как под вечной заботой твоей.**

**Все играешь, метелишь, хлопочешь,  
Сжался же, наконец, надо мной,  
Как-нибудь, как угодно, как хочешь,  
Только дай разминуться с зимой.**

Здесь вдруг обнаруживаются средостения, которые ведут к высшей будущей прозреваемой цельности. Это высокий итог стихотворения. И если сперва Табидзе — а за ним и поэт-переводчик — еще прибегает к прямому сравнению («И стою я под снегом, как под плачем твоим...»), то дальше уже исчезает и эта «опора» — белизна снегопада и чистота, душевная ясность сливаются в единый образ, и само сравнение несравнимого, обнаружение вдруг в разных ипостасях тех граней-признаков, — что и подсказывает, естественно, их соотношение и отождествление, — воспринимаешь как намек на возможность целостности, как итог целей «стихотворной жизни».

Тогда еще раз пожелаешь даже о том, что в последние строфы «не попало» такое земное галактионовское упоминание о «полевых цветах» в волосах любимой — образ, многое объясняющий и проясняющий, «направляющий» воображение к дали дальней, к беспредельности полей, к жизни внутренне органичной, ясной и цельной! Вместе с тем читательское сознание даже не замечает некоторых переводческих перестановок и перифраз, — они обнаруживаются, лишь когда заглядываешь в подлинник: там нет и моста, — заключение монолога «дается» на фоне «вереницы убеленных снегом деревьев», там нет и двух фонарей... Но, во-первых, память снова отсылает нас к первой строфе («Как люблю я лиловый снегопад и девичий хоровод, и круженье снежинок с моста»), а, во-вторых, мы «настроились» уже на волну и авторскую, и переводческую, мы ждем не просто образа, мы ждем перекрестов, сближений, сочетаний, — мы во власти того силового поля, которому подчинены, которому служат все «проводники» стихотворения. Снова вспыхивают строки: «Снег по-женски закидывал локоть, и была его кожа чиста...». И другие: «С январем побораться нетрудно, но минуй меня, брат мой, январь». И еще: «Но с тех пор, властью всех твоих качеств, снег целует и губит меня...». И снова: «Всею синей и белой природой ты ложишься на плечи мои...». Из таких частных сближений — вопреки и наперекор видимой трагедии разлуки и одиночества — возникает высшее сближение двух людей — че-



рез, казалось бы, далекое сочленение человека и природы, через сравнение пер-  
возданной чистоты душевной и изначальной снежной чистоты.

И переводчик особенно дорожит именно этими прекрасными мостами. Тут он подхватит любой камешек, любую деталь, любое, даже невзначай оброненное слово. Он как бы торопится от повествования, фактов — с их обескураживающей достоверностью — вернуться по «мостам сближений» к истинной, поэтической цельности. Он — ее верный рыцарь, а все разъединяющее, разнокачественное кажется ему случайным, наносным, преходящим, хоть и потребовавшим фиксации, но не заслуживающим пристального художественного внимания... Что ж, Галактион Табидзе в 1916 году и вовсе не думал о «законах различия» — противоречия казались наваждением, насмешкой безжалостной судьбы.

Лирика осталась верна себе и через полстолетия. Она и в переводе Ахмадулиной вся обращена к полюсу общности, целостности, единства, — здесь сфера ее интересов и возможностей, — и оттого она спешит быстрее, быстрее преодолеть все, разрушающее тождество, все, нарушающее гармонию и порядок. Она ищет опору, поддержку и исход в стихах Галактиона, она верна его принципам, методу, поэтике. Ну, а десятилетия, которые не прошли бесследно, которые заставили и к «разночтениям» реальной действительности присмотреться повнимательней, — они обострили не только зрение, но и поэтическое видение их одоления...

\* \* \*

Литература — в том числе и муза перевода, конечно, — не только слушает историю, но и пробивает для нее неезженные, еще никем не хоженные тропы. Когда мы вглядываемся в строфы стихотворения или главы романа, то видим не только развертывающийся перед взором Человека необъятный и яростный Мир, но и Человека, творящего мир по законам высшей гармонии. За стилем и поэтикой перевода — сама поступь душевных и духовных обретений человеческой истории. В случайном своеобразии строки пробивается, как зеленый листок, закон постижения и вечного движения.



**С**ОВЕТСКОЕ литературоведение так же многонационально, многообразно, как и вся советская художественная литература. Но идейное единство и национальное многообразие многоязычного советского литературоведения проявилось гораздо позже, чем в области литературно-художественного творчества.

Единство современного советского литературоведения и критики выражается не только в единстве творческого метода, которым является социалистический реализм, не только в единстве основных принципов идейно-художественного анализа, в партийном духе, в идейной направленности, народности и гражданственности советской научно-критической мысли, но и в единстве самого литературного процесса, как основного объекта изучения, и в общности задач, стоящих перед литературами братских народов в социалистическую эпоху.

Известный советский литературовед, один из ведущих ученых-литераторов Советского Союза Георгий Иосифович Ломидзе, 60-летие которого с большой сердечностью и теплотой отметила всесоюзная литературная общественность, является одним из тех славных деятелей советского литературоведения, которые начали изучать современный литературный процесс многонациональной советской литературы как единый процесс, как выражение единства многих национальных литератур, литератур братских народов, обусловленное социалистическим образом жизни, но сохранившее всю свою национальную специфику, как основу многообразия советской литературы.

Георгий Иосифович Ломидзе один из пионеров изучения советской литературы как единого процесса, основанного на морально-политической, социально-экономической, культурно-исторической и идейно-методологической общности, на единстве целей — в том числе и культурно-литературного характера — всех братских народов Советского Союза.

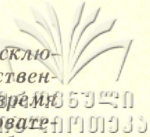
Рассмотрение отдельных литератур народов СССР (особенно советского периода) в их тесной взаимосвязи, в аспекте взаимодействия и взаимообогащения — не ново,



но никогда ранее подобное изучение не носило того масштабного и последовательного характера, как сейчас, и Георгий Иосифович Ломидзе приложил массу сил, чтобы советское литературоведение более полно, последовательно, методично изучало взаимосвязи народов в самом широком смысле этого слова и чтобы взаимосвязи стали обязательным аспектом литературоведческого анализа.

И поэтому орден Дружбы народов, которым Коммунистическая партия и Советское правительство наградили Георгия Иосифовича Ломидзе в день его славного шестидесятилетия, приобретает особый смысл и символику, как оценка труда, направленного на выполнение этого благородного долга советского литературоведения.

Именно сближению и единению братских народов, дружбе народов, как основе и



оплоту могущества и процветания социалистического отечества, посвятил свою сознательную жизнь талантливый советский литературовед и литературный критик — член-корреспондент Академии наук Союза ССР, доктор филологических наук, руководитель отдела советской литературы Института мировой литературы имени Горького АН СССР профессор Георгий Иосифович Ломидзе.

Не только в Советском Союзе, но и в странах народной демократии, а также в передовых кругах зарубежного литературоведения трудно сыскать более или менее значительного литератора, который бы не знал и не уважал полезную и плодотворную научную, педагогическую и общественную деятельность Георгия Иосифовича Ломидзе.

Человек благороднейшей души, исключительной благожелательности, нравственной чистоты и обаяния, он в то же время по-настоящему принципиален, требователен к себе и другим и бесконечно работоспособен. Именно поэтому так горячо и сердечно приветствовали его на юбилейных празднествах в Москве в Институте мировой литературы имени Горького АН СССР и в Тбилиси в Институте истории грузинской литературы имени Ш. Руставели АН ГССР.

Журнал «Литературная Грузия» сердечно поздравляет замечательного советского ученого-литературоведа, писателя, педагога, общественного деятеля со славным шестидесятилетием и желает ему новых творческих успехов.

# Исследователь советской литературы

Георгия Иосифовича Ломидзе хорошо знают во всей нашей многонациональной Советской стране и за ее пределами как видного ученого, известного общественного деятеля, одного из авторитетных представителей современного советского литературоведения. Заслуженным признанием, высокой оценкой труда и заслуг ученого явилось избрание его членом-корреспондентом Академии наук СССР, а совсем недавно — в связи с шестидесятилетием — награждение орденом Дружбы народов. Более сорока лет отдано им развитию советской литературы, научному и критическому изучению ее истории и сегодняшнего положения.

Особенно велик вклад Георгия Ломидзе в научную разработку весьма актуальных и сложных проблем истории и теории литератур народов СССР. Он — один из первых инициаторов и непосредственных участников этого большого дела. После окончания в 1951 году Академии общественных наук один за другим были опубликованы фундаментальные труды Г. Ломидзе по ряду важнейших вопросов советской литературы. Этому предшествовала многогранная, активная литературно-критическая работа, начавшаяся еще в Тбилиси в тридцатые годы.

Георгий Ломидзе — автор более ста двадцати подлинно научных трудов теоретического и исторического характера. Особенно четко видна его роль в разработке первостепенных и жизненно необходимых проблем марксистско-ленинской эстетики и советского литературоведения: национальной специфики в советской литературе и искусстве, единства интернационального и национального, как единого эстетического феномена; сущности и новаторского характера социалистического реализма; взаимосвязи и взаимообогащения литератур в условиях советской действительности; творческой индивидуальности и стиля, как выражения этой индивидуальности; гуманистической концепции советского искусства; взаимоотношения новаторства и традиции; выражения национальных и общечеловеческих идеалов в литературе и искусстве.

В процессе глубокого изучения этих проблем проявилась и выкристаллизовалась позиция Георгия Ломидзе как исследователя-коммуниста. Это — принципиальная позиция истинного интернационалиста, многосторонне эрудированного ученого, осмысляющего сложнейшие, во многих случаях дотоле неизведанные стороны литературы и искусства новой эпохи.

Именно в этом русле находятся основополагающие исследования Георгия Ломидзе: «За социалистический реализм в литературе» (Тбилиси, 1952), «О социалистическом содержании и национальной форме литератур народов СССР» (Москва, 1952), «Единство и многообразие» (Москва, 1957, 1960),

«Литература интернационального единства» (Москва, 1962), «В поисках нового» (Москва, 1963), «Теоретические проблемы развития советской литературы» (Тбилиси, 1964), «О взаимоотношениях критического и социалистического реализма» (Москва, 1966), «Интернациональный пафос советской литературы» (Москва, 1967, 1970), «Ленинизм и судьба национальных литератур» (Москва, 1973), «Единство многонациональной советской литературы» (Тбилиси, 1974).

Интересные исследовательские находки советского ученого, в частности, в сфере диалектической закономерности развития национальных литератур, стали достоянием современного мирового литературоведения. Многие труды Георгия Ломидзе переведены и изданы на английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, болгарском, польском, румынском, венгерском и других языках, а также на многих языках народов СССР.

Георгий Ломидзе — участник множества международных форумов писателей, критиков и литературоведов. Его доклады на международных научных конференциях, организованных академиями Чехословакии, Болгарии, Германской Демократической Республики и других стран социалистического содружества, явились серьезным вкладом в дальнейшее развитие современного мирового прогрессивного литературоведения и критики.

Уже сам по себе этот факт говорит о большой популярности советского ученого. И прежде всего он объясняется тем, что его труды всегда отличают новизна, актуальность, глубина, научный историзм, ясность и последовательность марксистско-ленинской методологии, четкая партийная позиция при анализе литературных явлений, восприимчивость их эстетических и идейных достоинств в комплексном единстве.

Все эти качества обязательны для истинного научного исследования. Поэтому Георгия Ломидзе справедливо считают не только видным ученым-литературоведом, но и организатором многогранной деятельности, которая направлена на научно-комплексное изучение литератур народов СССР. Этому делу он отдает всю свою творческую энергию.

Недавно завершено фундаментальное издание — «История советской многонациональной литературы». В шести ее томах на уровне современной науки дано изучение процесса развития советской литературы, обобщен ее богатый опыт. Одним из инициаторов этого издания, в подготовке которого принимало участие более тридцати научно-исследовательских институтов и около двухсот авторов, является Георгий Ломидзе. В течение двух десятков лет он неутомимо трудился, укрепляя соответствующую базу для создания этой истории. Была подготовлена и издана известная серия очерков истории литературы, опыт которой положен в основу создания единой многоотомной истории.

В ближайшее время в Москве выходит объемистый том истории грузинской советской литературы. В создании этого труда также на протяжении многих лет активно участвует Георгий Ломидзе, как инициатор и один из его редакторов. Ряд лет он руководил сектором истории советских многонациональных литератур Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, а в настоящее время возглавляет отдел советской литературы этого института.

Непосредственную научно-исследовательскую работу Георгий Иосифович Ломидзе успешно сочетает с почетным трудом педагога и многогранной общественной деятельностью. Под его непосредственным руководством в Институте мировой литературы, в Академии общественных наук, в Московском государственном университете были подготовлены 25 докторов и кандидатов наук. Сейчас все они ведут большую работу в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях страны. Одновременно Георгий Иосифович является заместителем председателя экспертной комиссии по филологическим наукам Высшей аттестационной комиссии, членом редакционной коллегии журнала «Вопросы литературы» и редакционного совета издательства «Советский писатель», членом всесоюзного совета по критике Союза писателей СССР... Он самым деятельным и непосредственным образом участвует в их работе.

Отдавая должное замечательным достижениям советского ученого и отмечая его заслуги, хочется верить — все творческие планы и надежды Георгия Ломидзе будут осуществлены.

Георгий МЕРКВИЛАДЗЕ,  
профессор.



## СТИХИ СПУСКАЮТСЯ С ГОР

Абхазский поэт Иван Тарба пишет с конца тридцатых годов. На абхазском, на русском и грузинском языках изданы многие его книги лирических стихотворений и поэм (недавно появились и его романы). И. Тарба — автор сложившийся, прошедший определенный литературный путь. Его новые сборники — «Книга песен» («Советский писатель») и «Я встречаю солнце» («Молодая гвардия») дают представление и о самом пути поэта, и о некоторых чертах современной абхазской поэзии в целом.

Две эти книги абхазского поэта адресованы нескольким тысячам читателей, которые прочтут их на языке подлинника, и многим десяткам тысяч, которые прочтут их на русском — на языке интернационального общения. В первом случае разговор с читателем — с глазу на глаз; во втором — через переводчиков, стремящихся в одном случае донести содержание стиха от строки до строки, в другом — сохранив лишь самое общее его звучание, дать сокровенный поэтический смысл. Как бы то ни было, перед нами две книги, изданные в Москве и авторизованные самим поэтом.

История Абхазии своеобразна. Своеобразна и история ее поэзии — тысячелетний эпос и профессиональная поэзия, возникающая фактически с первых революционных лет. Но творческие законы, по которым живут поэты Советской Абхазии, их чаяния, устремления, мечтания те же, что и у поэтов Москвы, Ленинграда, Ярославля или Баку: это утверждение человека новой формации в сложном и подвижном социальном мире, перенасыщенном информацией, в мире техники, нивелирующей расстояния, в мире переживаний, каждый раз новых и неповторимых.

Точка опоры здесь — целостность нашего мировоззрения, народность поэзии, поиски того соединения старого и нового, которое помогает полету в будущее. Об этом стихотворение Ивана Тарба «Родина» из книги «Я встречаю солнце»:

**Я много путешествовал по свету  
и уезжал из дома не напрасно:  
я поглядел на нашу мать-планету  
и понял, как она разнообразна.**

**Я здесь возрос — в фамильной  
колыбели  
под красным солнцем и под синим  
небом.  
Моя земля, твои мне птицы пели,  
я вскормлен был тобой возвращенным  
хлебом.**

(Перевод Ст. Куняева)

Старое и новое — вопрос не праздный для современного поэта и особенно для представителя такой молодой литературы, какой является абхазская. Есть у И. Тарба стихотворение под названием «Апацха» (апацха — это плетеное жилище охотника и зверолова, жилище предков). И вот в этих стихах поэт — а мы знаем и его поэму «Краснодонцы», и строки о стальном сердце трактора, и о дороге, которой нет конца, — сидит над очагом в апацхе и размышляет о дне сегодняшнем и о дне минувшем... Но прошлого отбросить нельзя. И нужно оно не только для сравнения с настоящим. Оно, ставшее музейным экспонатом в быту, порой ненужное в повседневности, необходимо для того, чтобы осмыслить свое место в кипучем, развивающемся мире.

Новое окружает поэта. Но осталась родная природа и родные песни. Черты этого своеобразия мы находим в циклах стихов о снежных вершинах, о горных турах и прочем.

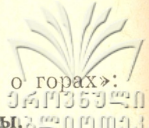
Но Абхазия — это не только, разумеется, горы и скалы. Это еще и море, пусть чересчур уж «курортное», чересчур ласковое, но это — до поры до времени! Как часто оно бывает подлинным, неприрученным, диким. И тогда, как пишет поэт:

**Море, словно молодой медведь,  
кувыркаясь, прыгает на скалы  
и, пытаясь берег одолеть,  
в нетерпенье зубы скалит.**

(Перевод А. Деметьева)

Черты этой неповторимости мы находим и в других стихах.

Судить по переводам — даже талантливым — о степени оригинальности поэта



нелегко. Но если говорить о ключе, в котором написано большинство стихотворений Ивана Тарба, это ключ, близкий то А. Твардовскому, то Я. Смелякову, то Г. Табидзе, то Г. Леонидзе. Для Ивана Тарба характерно весьма уважительное отношение к литературному наследию и попытка, разобравшись в этом наследи, найти и собственную тропу. И не случайно на наш вопрос об отношении к Маяковскому он ответил чрезвычайно точно, подчеркнув в основном общедейственный характер влияния: «Маяковский на меня влиял и влияет с самого начала соприкосновения с его творчеством, разумеется, это влияние, мне кажется, не формальное, по своей сути и духу оно глубже, многостороннее, масштабнее, чем это кажется иным. Влияние Маяковского видеть в формальной схожести с его стихосложением, т. е. писать лестницей, глубоко ошибочно. Маяковский учит всех советских поэтов (в том числе и меня) быть активными, наступающими певцами своей эпохи, обращая свой поэтический взор в будущее». (Письмо от 2/VII-74 г.).

Но кроме опознавательных знаков современной поэзии для любого поэта есть еще и национальные поэтические истоки.

Не раз в последние годы мы сталкиваемся с явлением, которое можно характеризовать как тягу к национальному фольклору. Явление это общесоюзное и достаточно сложное, чтобы охарактеризовать его в небольшой рецензии. Но одну из черт его отметим — это стремление вдохнуть жизнь в стремительно стареющие формулы нашего повседневного языка, окунуться в живую и мертвую воду непересыхающего родника поэзии.

Иван Тарба посвятил свою «Книгу песен» абхазской народной песне. Но было бы ошибкой искать в ней лишь вариации на фольклорные темы. Стихи ее глубоко оригинальны.

В «Тайной песне влюбленной девушки» И. Тарба пишет: «Что за тайна появилась в глазах у вас, солнце, луна и ветер? Если есть что передать мне, на миг опустимся, и мне скажите наконец! У меня есть сила воли. Но если я обманута — скажите! Я имею тайну в самом сердце, не открыв ее, не покидайте меня!» (подстрочный перевод). В переводе Якова Козловского эта песня звучит несколько иначе, но смысл ее остался.

И «Песня о троне поэта», который обучал саму природу, и «Песня каменистого человека» — о человеке, который пробивает горный гранит, чтобы сократить людям пути друг к другу, и «Песня кузнеца», который будит огонь в его опочивальне, и многие другие — оригинальные и своеобразные стихи русского поэта. И в то же время — это стихи, связанные с традицией абхазской поэзии.

Прекрасны строки «Песни о горах»:

**Глянь окрест: толпятся горы,  
Что стоят по грудь в туманах,  
И, высокое от века,  
Держат небо на плечах.  
И в бока потоков**

**шпоры,  
Как в бока коней, вонзают,  
И не зря у человека  
Отражаются в очах.  
Глянь окрест: толпятся горы,  
На которых разжигает  
Утро белою рукою  
Пламень раннего костра,  
А во мраке метеоры  
Над вершинами летают,  
И, привычные к покою,  
Светят звезды до утра.**

(Перевод Я. Козловского)

В русском переводе эта песня вызывает ассоциации из русской классики, связанной с темой Кавказа.

Для Ивана Тарба родной абхазский фольклор не был материалом для специального изучения по книгам и монографиям. Он знал его с детства. В его селе Беслахуба Очамчирского района были известные сказители Киач Пагава, Цигу Зухба и дед Ивана Тарба — Баса. Все жили рядом, и произведения народного эпоса входили в биографию мальчика вместе с первым словарным запасом, да и отец его — Константин (Кунта) рассказывал эпос «Нарты» и пел героические песни, и вместе с ним пели их все дети его — семеро братьев.

Народное слово, народная поэзия вошли в жизнь юноши еще задолго до того, как он стал учеником средней школы или сотрудником районной газеты. И не случайно на вопрос о роли фольклора в его творчестве поэт ответил так: «К фольклору я отношусь очень хорошо, но не хочу находиться в его плену. Я в своих произведениях стараюсь современную жизнь раскрывать своими, новыми средствами поэтического мышления».

Здесь и ответ на вопрос о соотношении старого и нового у поэта.

Я специально подчеркиваю это, держа в руках «Книгу песен». Ведь эта народность — органическая черта многих стихов И. Тарба, в том числе и его превосходной «Песни в честь хлеба» — произведения, которое вряд ли имеет прямые параллели в сборнике абхазского народного творчества, но которое пронизано той любовью, тем уважением, которым окружен был труд человека испокон веков: «Я пою песню о землешце, я пою песню о сеющем зерно. Стоят колосья, качаясь, опьяненные от сока земли. Они колышутся, как море, их волны катятся многоэтажно, стоя друг на друге, они под собой скрывают плодородную землю, в глубокой их тени затеряна земля».

Я специально привел строчки подстрочного перевода, чтобы ввести читателя в лабораторию стиха, где классические формулы — волны хлеба, катящиеся как море, колосья, качающиеся как пьяные, и т. д. — отражают круг фольклорных понятий автора.

Новые сборники Ивана Тарба «Я встречаю солнце» и «Книга песен» замечное явление не только в абхазской, но и во всеюязыной поэзии.

᠊ᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠪᠠ  
ᠶ᠋ᠢ ᠰᠤᠨᠰᠤᠨᠠ ᠰᠤᠵᠤᠨ

Дмитрий МОЛДАВСКИЙ

## ПЛОДОТВОРНЫМ ПУТЕМ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Торжество конкретно-исторического и типологического методов исследования — едва ли не самая характерная черта современного этапа его развития. Сданы в архив истории попытки нигилистического отношения к творчеству классиков, усиливается интерес к проблемам методологии. На смену эмпирической описательности и абстрактному теоретизированию приходят серьезные исследования, в основе которых лежит комплексное изучение огромного фактического материала в сравнительном плане, с учетом его исторически-конкретной национальной специфики.

Все это в полной мере присуще сборнику «Европейский романтизм» (издательство «Наука», 1973), являющемуся результатом совместных исследований, проведенных советскими и венгерскими учеными в тесном контакте Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР и Института литературоведения Венгерской Академии наук.

Сборник открывается вступительной статьей профессора И. Г. Неупокоевой «Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей» (стр. 7—50), где выявлены некоторые наиболее важные тенденции, проявившиеся за последнее время в изучении романтизма: оживление теоретического интереса к явлениям романтической художественной культуры, освоение сфер романтического искусства, до сих пор не привлекавших должного внимания. Автор особо подчеркивает все более явно ощущающуюся тенденцию рассмотрения литературы романтизма «в многообразных ее связях с другими областями духовной жизни» (стр. 8).

С позиций правильного осмысления типологических связей, как общности того типа художественного сознания, «которое складывается в этот исторический момент и, выражаясь всякий раз в неповторимой национальной форме и путях развития, являет собой часть общего движения истории культуры», И. Г.

Неупокоева выдвигает тезис о нерасторжимости историко- и теоретико-литературного содержания понятия историко-литературный контекст. Именно эта двойственность тенденции, наметившаяся в литературоведении, определяет двуплановость методики исследования проблемы: любое явление романтической литературы следует рассматривать не только как факт национальной литературы, но и в более широком аспекте.

Само собой разумеется, конечно, что типологическое изучение непременно должно подразумевать широту охвата материала, поскольку на ограниченном материале нескольких, пусть даже наиболее развитых, литератур нельзя делать выводов об общих процессах и тенденциях. И. Г. Неупокоева рассматривает многовековые связи романтического искусства в отдельных странах Европы и наглядно показывает те преимущества, какие дает исследователям расширение «географии» романтизма. Особенно важным считает исследователь выделение зональной специфики романтизма в пределах европейского культурного развития. Действительно, в таком аспекте к изучению европейского романтизма пока еще никто не приступал. Вместе с тем именно при таком подходе возможно установить целый ряд особых художественных систем романтизма в зональной группе литератур, показать его особую социально-историческую функцию и художественные потенции, а также его роль в дальнейшем художественном развитии. Вместе с тем появляется возможность выявить наиболее устойчивые и плодотворные связи между этими литературами, а также определить причины устойчивости романтической традиции в их последующем развитии. Данная методика позволяет уловить внутреннюю соподчиненность отдельных компонентов литературного процесса, своеобразную иерархию романтических жанров, специфику тематики и системы образов.

Наблюдения над зональной специфичностью развития романтизма дают возможность внести коррективы в представ-

ление о его хронологических рубежах. В результате понятие типологии романтизма становится исторически более точным, позволяя учитывать специфические особенности эволюции романтизма на разных этапах. Совершенно справедливо замечает автор, что «без учета этой внутренней динамики романтического искусства сравнительно-типологическое его изучение неминуемо превратилось бы в установление чисто внешних, более или менее случайных параллелей, не одушевленных живой правдой историко-литературного развития и потому в основе своей бесцельных, не продвигающих науку к уяснению подлинной диалектики национального и интернационального в мировом литературном процессе» (стр. 25).

К числу важнейших проблем типологии европейского романтизма относятся взаимодействия романтизма с реализмом, отношение романтизма к классическому наследию и связи романтизма с народно-поэтическим творчеством. Речь идет, таким образом, о тех путях, по которым творчество романтиков соприкасалось с доступной им художественной культурой. Вышеперечисленными тремя проблемами, разумеется, далеко не исчерпывается общее содержание проблематики романтизма, но нельзя не признать, что они имеют исключительное значение для характеристики типологии романтизма, для выяснения многих основных, устойчивых его художественных принципов и признаков, эволюция которых (так же как и их национальные и зональные вариации) в пределах художественной системы романтизма весьма значительна. Исключительно важное значение придается исследованию динамики развития межнациональных связей романтизма, во многом определяющей развитие самой романтической литературы. Процессам развития европейского романтизма действительно присуща определенная типологическая общность, и это выражается прежде всего в том, что идеологическая и художественная дифференциация течений в романтизме решительно пересекает национальные границы. В результате избирательность межнациональных контактов европейского романтизма резко повышается.

Таким образом, сравнительно-типологический метод исследования, как показано во вступительной статье, и при его применении к теоретическим проблемам европейского романтизма оказывается исключительно плодотворным. Именно этот метод позволяет проследить интенсивно развивающиеся контакты между литературами европейского романтизма, углубленно осветить интереснейшие процессы взаимодействия искусств в романтизме и увидеть много нового в самой художественной структуре романтического искусства.

Рецензируемый сборник не представляет собой систематического изложения истории или специфики романтизма, и об этом не следует забывать. Книга рассчитана на квалифицированного читателя, в достаточной мере подготовленного по истории европейской литературы, способного по достоинству оценить широту типологического охвата, смелые сопоставления и неожиданные сближения. Здесь, по замечанию редактора сборника профессора И. Г. Неупокоевой, литература европейского романтизма показана как «живое, многосложное, внутренне противоречивое динамическое целое, в котором происходит сложное взаимодействие творческих индивидуальностей, национальных художественных культур, непрерывно осуществляются многообразные духовные и творческие контакты» (стр. 36).

Только таким путем и можно во всей полноте охватить и понять всю сложность романтизма, представить себе его значение и роль в общем процессе литературного развития.

Романтизм занимает особое место среди литературных течений и направлений нового времени как явление исключительно многогранное и своеобразное. «Сосуществование» романтизма вначале (в некоторых странах) с классицизмом, а позднее — с реализмом, их, если можно так выразиться, взаимопроникновение во многом обусловили тот интерес, который вызывает романтизм у исследователей с самого же начала своего возникновения и до наших дней.

В первую очередь интерес этот определяется необходимостью всестороннего исследования «преемственности» романтизма. В этом отношении обращает на себя внимание опубликованная в сборнике интересная статья А. Елистратовой «Отношение романтиков к классическому литературному наследию». Избранная автором тема настолько обширна, что ее практически невозможно осветить с должной глубиной всего на каких-то 2½ печатных листах. Поэтому автор сознательно сужает рамки своего исследования, рассматривая главным образом отношение Байрона и Гюго к Данте и Шекспиру. И поступает, по нашему убеждению, совершенно правильно, ибо наблюдения над привлеченным материалом позволяют дать глубокий анализ едва ли не самых важных особенностей и тенденций романтизма вообще. Автором выделены две такие «общие тенденции, характеризующие в целом отношение романтиков к классическому наследию»: историзм, острое ощущение бега времени, которое подразумевает представление об относительном значении художественных ценностей, несущих отпечаток своего времени, и, во-вторых, — глубоко личное, лирически проникновенное, романтически «субъективное» отноше-



ние к великим художникам прошлого, создающее своего рода эффект «соприсутствия» и «сопричастности». Так путем конкретного анализа важнейших особенностей (вместо погони за кажущейся широтой охвата) в статье раскрыто многообразие тех факторов, которыми определялись направление и действительность сил литературного «притяжения» и «отталкивания» в отношении романтиков к классикам. При этом, разумеется, учитываются конкретные обстоятельства общественно-политической и литературной ситуации в той или иной стране, национальные традиции и художественная индивидуальность писателей.

Хотелось бы заметить, в связи с этим, что изучение романтизма в аспекте типологического обобщения и осмысления исторических корней, по существу, только начинается. Несомненно, отдельные элементы романтизма, как литературно-выражения определенного отношения к действительности, коренятся в гораздо более далеком прошлом, чем это, возможно, даже представляют себе многие исследователи в настоящее время. Тот факт, что в рецензируемом сборнике уделено внимание и этому моменту, не может не возбудить особого интереса у тех читателей, для которых романтизм — нечто гораздо более значительное, нежели только проявление абстрактно-гуманистических тенденций, в основе которых лежало противоречие между идеалом и действительностью. Выделение основных, наиболее характерных черт обобщенно-символической образности романтической литературы, и в частности поэзии, или, иначе говоря, анализ типологии поэтики романтизма — задача, пути к решению которой, на наш взгляд, уже намечены. Однако еще большее значение имеет оценка этой образности в сопоставлении с той проблематикой, которая волновала писателей романтического направления. Именно это, скажем мы со всей решительностью, особенно повышает ценность данного сборника. В уже упомянутой статье А. Елистратовой, например, намечена, хотя и вскользь, такая, на наш взгляд, важная проблема, как столкновение «Рока» и «Провидения» в драмах Гюго (стр. 125) и оценка его Пушкиным (известно, что именно этот конфликт волновал лучших мыслителей и поэтов античности и средневековья).

Мы не можем, разумеется, не заострить внимания на тех замечаниях в адрес современного состояния изучения народно-героической романтической поэмы Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, Балканского полуострова, а также Италии, которые сделаны в статье И. Г. Неупокоевой «Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей» (стр. 19). Действительно, исследователям творчества

И. Бараташвили, например, надлежало бы уделить больше внимания типологическому сопоставлению поэмы «Судьба Грузии» с романтическими поэмами печатлевшим освободительную борьбу других народов.

Художественному движению каждой эпохи присуща определенная целостность, и поэтому рассмотрение тех или иных сторон литературного процесса в их тесной взаимосвязи с другими областями художественного творчества — изобразительным искусством, музыкой и т. д. — задача не только интересная и увлекательная, но и чрезвычайно важная. В этом отношении большой интерес представляют помещенные в сборнике статьи К. Пигарева «Романтическая поэзия в ее соотношении с живописью» и И. Бэлзы «Литература романтизма и музыка». К. Пигареву удается хорошо показать общность основной линии творческого пути крупнейших представителей русской литературы и изобразительного искусства: движение «от романтизма или через романтизм к реализму — тенденция, которая в различных формах прослеживается и на широком европейском материале» (стр. 427). Тонкие наблюдения над портретом, пейзажем и историческими композициями, приводимые исследователем, заслуживают самого пристального внимания. Выявленные и ярко проиллюстрированные им тенденции, ведущие к отображению в искусстве «поэзии действительности», т. е. к реализму, вместе с тем нисколько не умаляют значения вывода, сделанного автором: «...Романтизм важен не только лишь как предварительная и в какой-то степени подготовительная стадия в развитии литературы и живописи. Уже одно то, что в художественную систему сложившегося реалистического искусства органически входят отдельные черты романтического стиля, говорит о жизненной силе и непреходящей ценности романтизма» (стр. 451).

Здесь же следует отметить, что и в уже упоминавшейся нами статье «Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей» И. Г. Неупокоева приводит тонкие наблюдения над аналогией взаимодействия романтического и реалистического начал в прозе и живописи стран Закавказья (стр. 27).

Задача, стоявшая перед автором статьи «Литература романтизма и музыка», тоже, разумеется, не из легких. И. Бэлза кратко показывает, какое большое значение придавали музыке в средние века (когда, вслед за философами античного мира и классического Востока, верили в ее магическую силу), и после этого говорит о «романтическом периоде развития художественной культуры», одной из характерных черт которого было «необычайное, дотоле еще никогда не бы-



валом воздействие литературы на музыку и музыки на литературу». Можно было бы сразу же упрекнуть автора в том, что он не характеризует достаточно глубоко и специально музыку романтизма как таковую; на первый взгляд, следовало бы подчеркнуть, в чем состояли те новые средства эмоциональной выразительности, к которым обращались композиторы-романтики; специалисту-музыковеду хотелось бы, вероятно, получить более четкое представление о специфике их творчества. В какой мере можно было бы утверждать, например, что литература романтизма повлияла на то обновление средств музыкальной выразительности, в результате которого стали более широко использоваться тональные сопоставления, альтерированные гармонии, аккорды побочных ступеней? Мы считаем, однако, что предъявлять подобные требования к данной статье было бы неправомерно. На исключительно обширном материале здесь показано, как в творчестве поэтов-романтиков звук усиливал поэтическую значимость слова, а слово, в свою очередь, порождало музыкальные образы. Можно только удивляться тому, как удалось в статье такого небольшого объема дать столь обширную информацию. Взаимозависимость литературы романтизма и «сложной генеалогии романтической музыки» показана здесь с максимальной наглядностью.

Нам, естественно, хотелось бы особо подчеркнуть, насколько тонко и убедительно прослеживает И. Бэлза ту преемственную связь, которая существует, например, между романтической балладой и славянскими «думами». Герой романтической думы-баллады является, как правило, героем народно-освободительного движения, выразителем тех устремлений, которые породили революционную ситуацию в Европе. Впечатляющий анализ роли музыки в произведениях Мицкевича, особенно в поэме «Конрад Валленрод». Говоря о том воздействии, которое романтическая поэзия оказывала на музыку, автор статьи особо останавливается на музыке Шопена, считая «балладность... характернейшей чертой ее» (стр. 474).

Вера в магическую силу музыки, издревле присущая человеку, была использована романтиками в полной мере, и всестороннее отображение этого процесса — несомненная заслуга И. Бэлзы.

В статье М. Сенци «Воображение и верность природе. Философские основы литературной критики Кольриджа» убедительно показано отношение Кольриджа, одного из основоположников английской романтической критики, к основным философским тенденциям и идеям, определившие выдвинутое им требование верности природе, примиряемое с требованием предоставления свободы во-

ображению в понятии «поэтической достоверности». Особенно интересен анализ критики творчества Шекспира в работах Кольриджа, как «объединение редкостной художественной чуткости с философской глубиной».

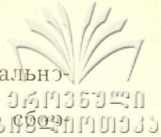
Некоторым особенностям романтической теории драмы посвящена сравнительно небольшая, но содержательная статья Е. Сапрыкиной (стр. 179—203).

Нам кажется, правда, что статья способна создать впечатление некоторой «обреченности» романтической драмы как жанра — впечатление, усугубляемое заключительным рассуждением автора. Тот факт, что наиболее крупные теоретики романтической драмы обратились впоследствии к жанру романа, еще не означает, что «изображение истории и человека, к которому тяготела романтическая теория драмы, оказалось особенно доступным большому эпическому жанру...» У каждого жанра — свои возможности, однако притягательность жанра определяется не только этими возможностями, но и личными склонностями самого писателя.

Справедливость требует заметить, что и в статье Е. Пульхритудовой «О жанровой дифференциации романтической поэмы 30-х гг. XIX в.» тоже говорится о победе романа, но уже не над драмой, а над философской поэмой романтизма. Автор прямо приходит к выводу о том, что «исток многообразного и разветвленного жанра романа можно и должно искать не только в психологической поэме и стихотворной повести, но и в очерковой и символично-философской разновидности жанра романтической поэмы» (стр. 278).

Не затрагивая самой по себе весьма сложной и спорной проблемы генезиса жанра романа, отметим, что, таким образом, обе эти серьезные работы освещают, по сути, разные стороны взаимоотношения романа с другими романтическими жанрами. Мы ограничимся здесь констатацией этого факта и напомним лишь о том, что в Венгрии, например, как указывает И. Шетер, влияние Гесснера, вдохновившего писателей на создание поэтической прозы, «скорее поддерживает развитие жанра настоящего романа, чем помогает ему». В литературе ряда других стран Центральной и Восточной Европы «повествовательный жанр долгое время колеблется между стихотворной и прозаической формами, чем объясняется появление повествовательных поэтических форм и даже романа в стихах в русской, польской и венгерской литературах еще до возникновения собственно жанра романа» (стр. 69).

Во многих отношениях интересны также опубликованные в сборнике статьи Л. Сиклаи — «Традиции «популярной» поэзии в романтизме ряда литератур



Центральной Европы», А. Елистратовой — «Эпистолярная проза романтиков», Л. Галди — «Стилевые особенности романтической поэзии романских стран».

Разумеется, не в порядке упрека к составителям сборника мы хотели бы подчеркнуть, что следовало, пожалуй, разделить больше внимания генетической связи романтизма с Просвещением, которое, как известно, предшествовало романтизму не только хронологически. Правда, в статье «Романтизм. Предыстория и периодизация» И. Шетер посвящает этому вопросу ряд разделов, содержащих, мы бы сказали, немало основополагающих выводов и крайне интересных наблюдений. Значение своеобразного «симбиоза просветительского и романтического художественного сознания» для периода так называемого «национального Возрождения» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы подчеркивается и в статье И. Г. Неупкоевой. Серьезное внимание преемственной связи между романтическим восприятием и пониманием природы в эпоху Просвещения уделено также в статье К. Хорват «Романтические воззрения на природу». Хотелось бы, однако, познакомиться с более специальной, монографической работой на эту тему. Данная проблема, занимавшая важное место как на VII международном съезде славистов в августе 1973 года, так и на советско-польском симпозиуме «Польский романтизм и восточно-славянские литературы», проходившем в Москве весной 1972 го-

да, заслуживает, возможно, специального исследования.

Ознакомление с рецензируемым сборником интересно во многих отношениях. Прежде всего, однако, необходимо подчеркнуть, что оно приводит к следующему важному выводу: для того чтобы полностью представить себе процесс становления литературы романтизма, необходимо использовать сравнительно-исторический метод, причем весьма плодотворным оказывается его использование именно в том случае, когда предметом внимания исследователей становится романтизм в литературах Центральной и Восточной Европы.

Следует, помимо всего прочего, учитывать, что создание подобного сборника подразумевает проведение огромной работы чисто организационного характера. Необходимо было соответствующим образом скоординировать работу исследователей, подобрать и отредактировать представленные материалы в духе общей направленности книги. Вся эта подготовительная работа блестяще проделана Институтом мировой литературы имени А. М. Горького и Институтом литературоведения Венгерской Академии наук. В этом успешном решении столь ответственной задачи немалая заслуга принадлежит, несомненно, ответственным редакторам книги — доктору филологических наук И. Г. Неупкоевой и академику Венгерской Академии наук И. Шетеру.

Сергей СЕРЕБРЯКОВ



## КНИГИ О БЕССМЕРТНОМ ПОДВИГЕ НАРОДА...

Весь советский народ готовится торжественно отметить славное 30-летие Великой Победы. Этой дате посвящаются фильмы, спектакли, музыкальные произведения. Мастера кисти и резца создают полотна и скульптуры, увековечивающие бессмертный подвиг нашего народа, издаются новые худо-

жественные произведения.

Председатель Государственного комитета Совета Министров Грузинской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли Г. ТАВАМАИШВИЛИ рассказал об изданиях, посвященных этой знаменательной дате.

«Еще в сентябре 1974 года, — сказал он, —

коллегия нашего комитета обсудила вопрос о подготовке к изданию литературы, посвященной 30-летию Победы над фашизмом. Был составлен специальный тематический план, утвержденный после широкого обсуждения. Он предусматривает издание книг десятков наименований. Девять книг из этого плана чи-

гатели уже получили. В большинстве своем их авторами являются непосредственно участвовали в боях по защите советской земли, на себе испытали всю тяжесть войны. Так, о самоотверженной героической борьбе воинов 351-й Краснознаменной стрелковой дивизии Закавказского фронта, сражавшейся на подступах к Кавказу и на Мамисонском перевале, повествует книга полковника С. Меквабшвили «В тылу врага», выпущенная издательством «Сабчота Сакартвело». С большим интересом встретил грузинский читатель книги педагога Б. Гонгадзе «Лицом к лицу», полковника Е. Довбыша «Героизм комбата Арсенидзе», генерал-майора авиации Д. Шаншашивили «Рассвет над тундрой». Все они рассказывают о героических делах верных сынов грузинского народа — летчиков, саперов, пехотинцев.

Битвам под Сталинградом, на Курской дуге и подступах к Берлину посвящена книга ветерана Великой Отечественной войны С. Чхартушвили «Через Берлин». В ней автор с большой искренностью и убедительностью рассказал о героических делах защитников Родины. В памяти советского народа навсегда останутся имена тех грузинских воинов, которые пали на полях сражений, увековечив свое имя: Лаврентия Авалиани, Эрониса Инаури, Шота Гамцемлидзе. Издательство «Накадули» предложило читателям книгу очерков

полковника Ш. Папидзе «Слава героям». О подвигах Героев Советского Союза — Григола Буачидзе, Георгия Биланишвили, — Тенгиза Джапаридзе и других повествует книга И. Горгадзе «Бессмертие».

В текущем году издательства «Сабчота Сакартвело», «Мерани», «Ганатлеба», «Накадули», «Хеловнеба» предложат своим читателям много интересных и оригинальных произведений. С большим вкусом, на высоком художественном уровне будут выполнены альбомы, которые готовит к выпуску в честь знаменательной даты издательство «Хеловнеба». Среди них нельзя не отметить альбом, составленный О. Эгадзе, — «Штыком и пером», в котором будут собраны боевые плакаты, публиковавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Понравится читателю и коллективный авторский труд — «Тема Великой Отечественной войны в музыке». Запущены в производство и в скором времени появятся в продаже книги, которые предлагает издательство «Сабчота Сакартвело». Это «На дорогах войны» — группы авторов, «Невзрывающийся снаряд» — подполковника Д. Гугунава, «На партизанских тропах» — ветерана войны Ш. Кобиашвили.

Жизни и подвигу выдающегося грузинского военачальника, генерал-полковника К. Леселидзе посвящена книга журналиста Михаила Давиташвили «Константин Леселидзе». О самоотверженной борьбе защитников Кавказа повествует

книга П. Кованоза «Пелазия не отметит и книгу генерала Г. Курашвили «Кровью братьев», в которой рассказывается о грузинских семьях, из которых ушли на фронт четверо и больше сыновей.

Интересным будет сборник рассказов и новелл грузинских литераторов на военную тематику, который выпустит издательство «Мерани». Сборник стихотворений грузинских поэтов, написанных в период с 1945 года, выйдет в издательстве «Ганатлеба». Волнующим будет сборник стихотворений грузинских, армянских и азербайджанских поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Произведения этих юношей, навсегда оставшихся молодыми, проникнуты беспредельной преданностью Советской Родине, верой в победу над фашизмом. Эти писавшиеся в минуты недолгих затиший в окопах строки еще раз напомнят о том интернациональном единении всех народов нашей страны, которое повергло в прах фашизм.

К 30-летию Победы предусмотрено издание альбома «Некоторые эпизоды участия грузинского народа в Великой Отечественной войне». В него войдут 25 различных по тематике плакатов, которые расскажут о вкладе нашей республики в дело победы над фашизмом. Издательство «Хеловнеба» отпечатает портреты Героев Советского Союза, снабдив их краткими биографическими данными.

## Письмо в редакцию

В № 2 «Литературной Грузии» за 1974 год была опубликована статья профессора М. Дудучава «С позиции захваливания». Хотелось бы поделиться некоторыми соображениями по поводу этой статьи.

Утверждая, что автор раскритикованной им работы<sup>1</sup> «исказил и обеднил всю историю грузинского пластического искусства XX века», профессор М. Дудучава добавляет: «Автор монографии ограничивает древнейшую историю грузинской скульптуры рамками рельефа и декоративной чеканки. Но ведь это неприкрытое принижение и игнорирование истории грузинского изобразительного искусства, в особенности дохристианской его истории» (стр. 95).

Чтобы читателю было ясно, о чем идет речь, приведем цитату из монографии Н. Воронова: «Станковая и монументальная скульптура в Грузии — явление сравнительно молодое. Если не вспоминать о древних рельефах и декоративной чеканке, то традиции современной пластики начали складываться здесь лишь в конце XIX века. Во главе школы стояли такие мастера, как Я. Николадзе и Н. Канделаки» (стр. 10. Здесь и далее подчеркнуто мною. — Э. А.).

Итак, Н. Воронов весьма конкретно и ясно говорит о современной станковой и монументальной скульптуре в Грузии, а не обо всей истории грузинского изобразительного искусства. При чем же здесь «неприкрытое принижение и игнорирование истории грузинского изобразительного искусства, в особенности дохристианской его истории»?

Создается впечатление, что уважаемый рецензент намеренно вводит в заблуждение неискущенного читателя. Не все ведь знают, что такие виды изобразительного искусства, как керамика, настенная живопись, чеканка, декоративно-утилитарные скульптурные изображения, каменные рельефы, были из-

вестны еще в древней Грузии, что круглая станковая и монументальная скульптура, которая тоже является частью изобразительного искусства, возникла позднее, не говоря уже о ее традициях.

Что ж, напомним читателям «Литературной Грузии» некоторые свидетельства:

«При анализе явлений искусства грузинского раннехристианского рельефа с последней четверти V века по середину VII века, — пишет академик Н. Чубинашвили, — нельзя упускать из виду, что в это время в Грузии еще не выдвигались специфически-художественные проблемы искусства в области скульптуры, а были, как уже указано выше, «разработаны» задачи только декоративного порядка»<sup>1</sup>.

«В первой половине XI века вызревает художественный пластическо-скульптурный подход выработки фигурных рельефов»<sup>2</sup>.

«Средневековая Грузия не знала круглой скульптуры»<sup>3</sup>.

Все это — авторитетные свидетельства. Что же касается Н. Воронова, то он совершенно ясно говорит о традициях современной скульптуры, основоположниками которой справедливо называет Я. Николадзе и Н. Канделаки. А вот по категорическому мнению проф. М. Дудучава, «новая грузинская школа была создана лишь Я. Николадзе и никем иным» (стр. 95).

Спору нет: Я. Николадзе первым начал в Грузии профессиональную педагогическую и скульптурную деятельность. Однако творческая пластическая школа возникла на основе сопоставления художественных принципов и творческой полемики двух больших мастеров — Я. Николадзе и Н. Канделаки. Именно поэтому Н. Канделаки наравне

<sup>1</sup> Н. Чубинашвили. Хандиси, «Мециереба», Тбилиси, 1972, стр. 27.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Всеобщая история искусств, изд-во «Искусство», Москва, 1960, т. II, стр. 100

<sup>1</sup> Н. Воронов. «Элгуджа Амашукели», изд-во «Советский художник», Москва, 1971.

с Я. Николадзе считается основоположником новой грузинской пластической школы. Эту мысль разделяет и наша художественная общественность.

На странице 10-й монографии Н. Воронов пишет: «В 30—40-е годы грузинская скульптура постепенно теряла свою самобытность и происходила **некоторая** нивелировка творческих манер». Полемизируя с ним, проф. М. Дудучава утверждает, что «именно в 30—40-е годы грузинские скульпторы создают свои лучшие произведения, отличающиеся творческой индивидуальностью, зрелым мастерством и свидетельствующие о подлинном успехе грузинской советской скульптуры. Вспомним портреты Толбухина, Хорава, Кванталиани, и другие работы Н. Канделаки, произведения Т. Абакелия, Н. Церетели, Р. Тавадзе, Г. Сесиашвили, В. Топуридзе, К. Мерабишвили, С. Какабадзе, Ш. Микатадзе, Б. Авалишвили, И. Окропиридзе и др. Разве не произведения этих мастеров прославили грузинскую скульптуру?» (стр. 95). Далее рецензент называет работы Я. Николадзе — «В. И. Ленин в период «Искры», портрет И. Чавчавадзе, «Чахрухадзе» и другие работы, созданные в это же время.

Начну с того, что проф. М. Дудучава не соблюдает хронологической точности. Произведения, созданные на грани 50-х годов, он относит к 30—40-м годам. Так, портрет Чахрухадзе создан в 1948 году, «Ленин в период «Искры» — в 1947 г.; работы Н. Канделаки: портрет Хорава — в 1948 г., портреты Толбухина, Кванталиани — в 1952 г., Бакарадзе — в 1953 г.; работа В. Топуридзе «Победа» относится к 1948 г.; Т. Абакелия, «Семья колхозника» — к 1949 г., «Отомстим» — к 1944 г.; «Родина зовет» Ш. Микатадзе создана в 1945 г. Лучшие произведения Т. Асатиани, А. Горгадзе, Б. Авалишвили, И. Окропиридзе и др. относятся к 50-м годам. Правда, в 30—40-е годы они создали ряд произведений, но М. Дудучава, считая эти годы возрождением грузинской скульптуры, почему-то умалчивает о них. Это — памятник «Ш. Руставели» работы К. Мерабишвили, «Счастливая семья» В. Топуридзе, «Арсен Одзелашвили» Э. Мачабели, «Сталин-семинарист» С. Какабадзе, «Родник» Г. Сесиашвили, «Киров» и «Дзnelадзе» К. Мерабишвили, «З. Палиашвили» Р. Тавадзе, «Ладо Кецохвели» В. Топуридзе и др.

Что же имел в виду Н. Воронов, говоря о «некоторой нивелировке творческих манер»?

В грузинском изобразительном искусстве, как и во всем советском искусстве в определенный отрезок времени, то или иное произведение искусства зачастую рассматривалось и оценива-

лось с позиции узкодогматического понимания творческого метода социалистического реализма. Это привнесло немалый ущерб развитию советского изобразительного искусства. Художникам с самобытной творческой индивидуальностью в обстановке той поры нелегко было подчас проявлять индивидуальность почерка своего искусства. Иной раз они были вынуждены ориентироваться на утвердившуюся точку зрения, и в результате происходила «некоторая нивелировка творческих манер», о которой и пишет Воронов.

«Сейчас... в скульптурных произведениях проявляются весьма разнообразные творческие поиски, свидетельствующие, в частности, о все более успешно преодолении тех **упрощенно догматических истолкований реализма**, которые столь мешали развитию советской пластики»<sup>1</sup>.

«Успешно развивается искусство Грузии в последнее время. Однако ряду произведений 40-х—начала 50-х годов присущи **внешняя парадность, ложный пафос, иллюстрированность**»<sup>2</sup>.

Именно об этом и говорит Н. Воронов: «Узкое, догматическое понимание социалистического реализма было преодолено. Художественная условность, символика, аллегоричность, гротеск стали использоваться значительно шире. Были отброшены дискредитировавшие себя штампы. Другими глазами взглянули мы и на творческие наследия недавнего прошлого, на работы таких мастеров, как Н. Трубецкой, А. Малеев, Н. Андреев и др.» (стр. 10).

Вот о какой нивелировке пишет Н. Воронов.

Рецензент приводит фразу: «Но с конца 1950 г. начинается подлинный расцвет грузинской пластики» (стр. 10) и затем, пропуская несколько строк из текста Н. Воронова, комментирует: «Тут же... названы скульпторы, с именами которых Н. Воронов связывает подлинный расцвет грузинской пластики. Это Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, К. Гурули, Г. Кордзахия, К. Мерабишвили, Г. Очаури и другие» (стр. 95). Но, во-первых, у Н. Воронова «целый ряд других», а не «и другие», во-вторых, среди перечисленных М. Дудучава скульпторов нет И. Очаури. Если бы рецензент «не пропустил» этого скульптора, который свои лучшие работы «Портрет И. Джандие-

<sup>1</sup> И. Шмидт, «Скульпторы Москвы на выставке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», сборник «Советская скульптура наших дней», изд-во «Советский художник», Москва, 1973, стр. 20.

<sup>2</sup> Искусство стран и народов мира, изд-во «Советская энциклопедия», Москва, 1962, стр. 619.

ри», «Портрет М. Кубанишвили», фигуры Важа Пшавела и А. Казбеги и другие создал в 50—60-е годы, и добавил бы к этим работам творчество скульпторов, названных Вороновым, а также творчество **целого ряда других**, то, пожалуй, трудно было бы придраться к автору монографии — чем тебе не расцвет грузинской пластики!

По мнению проф. М. Дудучава, скульпторы 50—60-х годов еще находятся в процессе творческого роста, а некоторые из них не свободны ни от подражательства, ни от **искусственных поисков**. Поэтому, считает он, **скульптуру 50—60-х годов нельзя считать расцветом грузинской пластики**. Ясно, что под теми, кто не свободен от подражательства и искусственных поисков, рецензент подразумевает перечисленных Н. Вороновым скульпторов.

Кто они, эти скульпторы? Какой бы неверной и неожиданной ни показалась М. Дудучава такая характеристика, это художники, представляющие сегодня лицо современного грузинского пластического искусства, вносящие заметный вклад в развитие монументального искусства страны. Многие из них являются авторами большого числа монументов. О творчестве их давно пишет всеоюзная и мировая пресса, говорят на международных симпозиумах. Им заказывают произведения большого политического и государственного значения, приглашают на всемирные курсы.

Можно с полным основанием утверждать, что в это десятилетие (речь идет о грузинской пластике 60-х годов) она уверенно заявила о себе, как об одной из зрелых художественных школ скульптуры социалистического реализма, **показала свой характер, свои особые достижения**<sup>1</sup>.

«Ведущее место в ней (в грузинской пластике. — Э. А.) занимают мастера, принадлежащие, в основном, к одному поколению. В середине 50-х годов в художественную жизнь республики активно вступили Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, Г. Очаури, К. Гурули, Г. Каладзе, В. Оннани, Б. Цибадзе, Д. Микадзе, немного раньше Т. Гвинишвили, А. Горгадзе, Г. Кордзахия, И. Очаури. Все они — художники большого таланта, ярко выраженной творческой индивидуальности. Вместе с тем грузинская скульптура 60-х годов — явление целостное и монолитное»<sup>2</sup>.

Можно было бы привести еще целый ряд высказываний искусствоведов о грузинской пластике 50—60-х годов, но

<sup>1</sup> «Советская скульптура наших дней», изд-во «Советский художник», Москва, 1973, стр. 212.

<sup>2</sup> Там же.

думаю, что вышесказанное в достаточной мере подкрепляет мнение Н. Воронова. Никак нельзя согласиться с проф. М. Дудучава, утверждавшим, что грузинскую скульптуру прославили лишь произведения, созданные в 30—40-е годы, что 50—60-е годы нельзя считать порой расцвета грузинской пластики. Если в 30—40-е годы гордость грузинской пластики составляли работы Я. Николадзе, Н. Канделаки и некоторых других художников, то в 50—60-е годы добивается успеха и расцвета грузинская пластическая школа.

Несколько слов о той части статьи М. Дудучава, которая касается непосредственно моего творчества.

«Автор труда, — пишет Дудучава, — считает, что «Амашукели сумел преодолеть глубоко укоренившееся понимание городского памятника и создать произведения новаторские, **но не отрицающие традиции лучших творцов монументальной пластики прошлого**». Речь, таким образом, идет о всей истории мирового искусства, в которую Э. Амашукели вошел, как истинный новатор...» (стр. 92).

Что послужило основанием для подобного заключения? Нет в монографии ничего подобного! Н. Воронов лишь утверждает, что Амашукели при своем новаторстве не отрицает лучших традиций больших мастеров прошлого, а вот проф. Дудучава эту мысль заведомо искажает.

Н. Воронов пишет: «Конструктивность и построенность фигур — особое кредо мастера. Его способ лепки во многом идет именно от этого конструктивного начала» (стр. 34). М. Дудучава возражает: «Но разве построенность и конструктивность в монументальной скульптуре — это особое «кредо» одного лишь Э. Амашукели?» Но Н. Воронов нигде и не утверждает, что это особое «кредо» одного лишь Э. Амашукели.

Проф. Дудучава объявляет «открытием» Н. Воронова, что Амашукели, мол, работает только пальцами. Он пытается уличить Воронова в незнании элементарных профессиональных навыков скульптора. Но общеизвестно, что скульптор или лепит пальцами, или работает стечкой (Я. Николадзе, например, работал стечкой, Н. Канделаки лепил пальцами). Что же удивительного в том, что я работаю только пальцами?

Н. Воронов считает, что «Амашукели всегда работает по воображению... Все фигуры Амашукели «неправильны» или «неверны» с точки зрения анатомических пропорций, но все правдивы и верны с позиции искусства» (стр. 33). Проф. М. Дудучава на свой лад комментирует: «Неужели Н. Воронов серьезно думает, что в реалистической со-

ветской скульптуре правда жизни, правда объективного мира и правда искусства находятся в таком противоречии, что художник должен отказаться от натуры или же мы должны хвалить Амашукели за то, что все его фигуры неправильны или неверны с точки зрения анатомических пропорций?» (стр. 95).

У Н. Воронова слова «неправильны» или «неверны» — в кавычках. Не потому ли игнорировал кавычки проф. Дудучава, что это было для него удобно? Решающее значение в создании художественного образа, формы имеет не анатомия объекта, а эмоциональное отношение художника к нему. Пропорция, ритм, деформация, утрировка, абстрагирование — это в большей степени духовная модель отношения художника, чем точное копирование физического тела объекта. Касаясь этих вопросов, А. Добровольский в статье «Время в скульптуре» пишет: «В режиссуру художественного образа входит и пластическая деформация». Классическими примерами этого А. Добровольский приводит скульптуры: «Граждане Кале» Родена, работы венгерского скульптора И. Кереньи и мою работу «Революция» («Творчество», № 10, 1973). Ритмика скульптуры, утверждает он, может касаться и движения («Танец покрывал» Бурделя), пространственного развития («Хлеб» Мухиной), линейно-силуэтных характеристик («Раненый орел» Амашукели). По существу, ритмика, как и деформация, абстрагирование, по мнению Добровольского, есть способ переплава пространственной организации во временную и, как таковая, является важ-

нейшей чертой всякого скульптурного произведения.

Проф. М. Дудучава упрекает Н. Воронова в том, что он хвалит даже те работы Амашукели, которые «никак нельзя отнести к творческим удачам скульптора». Такими работами М. Дудучава считает эскиз памятника Н. Бараташвили и фриз у входа в станцию метро «Руставели». Но ведь М. Дудучава ни разу не видел проекта памятника Н. Бараташвили (скульптура не экспонировалась ни на одной выставке!). Очень странно, что это не мешает ему говорить о художественной ценности скульптуры.

У каждого художника свое, индивидуальное, субъективное отношение к поэтическому образу. Если М. Дудучава считает Бараташвили поэтом, чья поэзия полна мятежного духа, могучего порыва, борьбы со всем косным и отживающим, то для меня Бараташвили в первую очередь поэт созерцающий, думающий о будущем человека и своего народа, которому не чужда и мировая скорбь человеческая... Ни я, ни Н. Воронов нигде не утверждаем, что это — единственно верное отношение к поэзии. Может быть, монография Воронова и не застрахована от ошибок — не мне об этом судить... Что же касается статьи М. Дудучава «С позиции захваливания», думается, что и она небезгрешна в понимании истории новейшего грузинского искусства.

**ЭЛГУДЖА АМАШУКЕЛИ,**  
скульптор, лауреат премии имени  
Шота Руставели.



Сдано в производство 24 января 1975 г. Подписано к печати 18 марта 1975 г.  
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Заказ 315

Тираж 4 000

УЭ 11248



33-1975

75-212



Цена 40 коп

ИНДЕКС  
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ  
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა